



Г. Г. ШПЕТ

Источники диссертации Чернышевского

С неопределенного времени в русской литературе установилось убеждение, что диссертация Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» составляет приложение общих философских воззрений Фейербаха к обоснованию эстетики. Плеханов сделал больше всех для укрепления этого мнения ¹, так как он — первый, если не единственный, постарался доказать его принятыми в истории литературы способами. До сих пор в общем литературном мнении оставался вне сомнения и подозрений тезис Плеханова: «*Эстетические отношения искусства к действительности* представляют собою интересную и единственную [*? курсив мой*] * в своем роде попытку построить эстетику на основе материалистической философии Фейербаха» (Соч. Т. VI, изд. 2-ое, s. a., стр. 263; т. V, стр. 190).

При установлении идейных зависимостей и влияний пользуются обыкновенно двумя приемами. Первый из них состоит в отыскании косвенных указаний, — если нет прямых и непосредственных, — у самого исследуемого автора, свидетельств его современников, единомышленников и т. п. Это — прием внешне и формально биографический. Невзирая на всю тщательность, с которою он может быть применен, он всегда остается только предварительным, по существу поверхностным и неубедительным, даже в том случае, когда находится прямое свидетельство самого исследуемого автора. Всегда требуются проверка и подтверждение со стороны внутреннего материального анализа самого идейного содержания, занявшего внимание исследователя. Плеханов воспользовался обоими приемами **. Насколько

* В квадратных скобках здесь и далее пометки Г. Г. Шпета. — *Ред.*

** Ср. Соч. V, 29, 189, VI, 256 и V, 331, VI, 264

убедительны выводы Плеханова по существу, мы увидим ниже. Здесь достаточно предварительного замечания, что аргументация Плеханова в сопоставлении принципов Фейербаха и воззрений Чернышевского не выходит за пределы общих, слишком общих соображений. Быть может, чисто внешнее для сути дела обстоятельство остановило Плеханова перед сопоставлением более детальным и углубленным. Как он сам указывает, когда он впервые, в 1889 г., приступил к работе о Чернышевском, его соображения о родстве философских взглядов Чернышевского и Фейербаха «не опирались тогда ни на одно прямое, ничем не прикрытое показание самого Чернышевского» *. Выпуская в 1910 г. свое большое исследование о Чернышевском, Плеханов уже располагал прямым свидетельством Чернышевского, выраженным в *Предисловии* к предполагавшемуся в 1888 г. третьему изданию «Эстетических отношений». Издание не осуществилось, и *Предисловие* увидело свет только в 1906 г., в X томе Полного собрания сочинений Н. Г. Чернышевского.

Плеханов доверился этому *Предисловию* и заключил: «Мы правильно поняли отношения Чернышевского к Фейербаху» (Соч. V, 191). Между тем внимательная проверка указаний автора *Предисловия* вызывает целый ряд недоумений. Не следует забывать, что в значительной своей части это — документ старческой памяти. А что такое старческая память — достаточно известно! Ее продукт — не просто увечная картина со стершимися, замазанными и продранными частями, а новая, реставрированная композиция, где погибшие части заменяются новыми, где не воспоминание, а домысел, фантазия, сопоставление разных хронологических дат и разных обстановок перемещают и то, что сохранилось в памяти, искажая перспективу, соотношения и краски былой действительности. Худо ли это или хорошо, но нередко желание, чтобы было так, вытесняет воспоминание о том, как было.

То, что не подлежит никакому сомнению в *Предисловии*, это именно желание Чернышевского видеть себя фейербахианцем с юных студенческих лет, и, во всяком случае, с момента подготовки

* См. его основную работу: Н. Г. Чернышевский. Изд. «Шиповник». СПб. 1910, стр. 82 ²; здесь (стр. 81) указан конец 1899 г., как время составления первой статьи Плеханова о Чернышевском, эта ошибка воспроизводится и в Сочинениях Плеханова под ред. Д. Рязанова, Т. V, стр. 189.

им своей диссертации. Остальное требует проверки. Не с целью, конечно, изобличать Чернышевского, а лишь с целью подготовить материал для дальнейших суждений, остановлюсь на двух пунктах: 1, в каком виде память воспроизводила перед Чернышевским образ самого Фейербаха, и 2, в каком виде рисуется ему в воспоминании его собственное отношение к учению Фейербаха в период подготовки и составления диссертации. Проверочный вопрос: в какой мере то и другое согласуется с другими внешними указаниями и биографическими данными?

1. О Фейербахе Чернышевский сообщает, между прочим, нижеследующее: «В 1845 году, в предисловии к собранию своих сочинений, он [Фейербах] уже говорил, что философия отжила свой век, что ее место должно быть занято естествознанием. — Делая обзор тех фазисов развития, которые проходила его мысль и, показывая при каждом из них, почему она не остановилась на нем, признала его устаревшим и перешла к следующему, он, по изложению основных идей последних, отвечает: „Но и эта точка зрения не устарела ли?“ и отвечает: „К сожалению да, да!“, *Leider, leider!* ³». Это заявление, что он считает устаревшими и такие свои труды, как «Сущность религии» (*Das Wesen der Religion*), основывалось на надежде, что скоро «явятся натуралисты, способные заменить философов в деле разъяснения тех широких вопросов, исследование которых было до той поры специальным занятием мыслителей, называвшихся философами» (ПСС, X, 2, стр. 191) ⁴. И затем ниже, утверждая, что система Фейербаха «имеет чисто научный характер», Чернышевский продолжает: «Но вскоре после того, как он выработал ее, болезнь ослабила его деятельность. Он был еще не старик, но уже чувствовал, что у него не достанет времени изложить сообразно с основными научными идеями те специальные науки, которые оставались тогда и остаются до сих пор ученой собственностью так называемых философов по неподготовленности специалистов к разработке широких понятий, на которых основывается решение основных вопросов этих отраслей знания. — — — Поэтому-то в предисловии к собранию своих сочинений в 1845 г. он уже говорил, что его труды должны быть заменены другими, но что у него уже нет сил произвести эту замену. Этим чувством объясняется его печальный ответ на вопрос, который он предлагает себе: «Не устарела ли и нынешняя твоя точка зрения? К сожалению, да, да! *Leider, leider!* ⁴» (ib. 195) ⁵.

Речь, явно, идет о *Предисловии* к Первому тому, вышедшему в 1846 году, собрания сочинений Фейербаха. О какой болезни в эту пору и о каком ослаблении деятельности Фейербаха говорит Чернышевский, из биографии Фейербаха неясно, родился он в 1804 г., умер в 1872, и как раз годы 1840–<18>50, скорее всего, должны быть признаны расцветом его деятельности *. Неясно и то, откуда было известно Чернышевскому, что Фейербах в 42 свои года «уже чувствовал», что у него не достанет времени изложить сообразно со своими основными идеями логику, эстетику и т. д. Какова действительная причина, в силу которой Фейербах не считал нужным создавать полную философскую систему и применять свои принципы к реформе логики, эстетики, и т. д., об этом мы вскоре узнаем из собственного объяснения Фейербаха. Оставим догадки и домыслы в стороне, и посмотрим, насколько соответствует истине утверждение, что Фейербах в указанном *Предисловии* называл свои труды устаревшими, философию — отжившею свой век, и естествознание — долженствующим занять место философии.

Свое право на переиздание прежних трудов в Собрании сочинений Фейербах хочет видеть в согласовании ранее высказанных взглядов с его теперешней, последней к моменту переиздания, точкою зрения. Рассмотрим беспристрастно, предлагает он самому себе, свое прошлое и скажи, созвучно ли оно и насколько оно созвучно твоему настоящему. Далее Фейербах сопоставляет свое прошлое и настоящее, как со стороны внешней, со стороны способа изложения, так и со стороны самого содержания *. Со стороны изложения он во всей своей литературной деятельности отмечает одну отличающую его черту: предпочтение конкретного, наглядного, чувственного абстрактному, формальному, только логическому. «Ты предъявляешь, — говорит он, — к объекту мышления требование, чтобы он был вместе и объектом эстетики» (как учения о чувственности). «Этот чувственный, конкретный способ

* К. Грюн в своем очерке философского развития Фейербаха категорически утверждает: «In den 40-er Jahren war Feuerbach am Thatigsten, und seine Thatigkeit voller Energie ⁶» (<Karl Grün.> L. Feuerbach in seinem Briefwechsel und Nachlass. <In 2 Bden. Leipzig; Heidelberg: Winter,> 1874, B. I, S. 122) ⁷. Это легко можно было бы доказать простым перечнем того, что им создано в эти годы.

** L. Feuerbach's sämtliche Werke. Erster Band. Lpz. Verl. v. Otto Wigand. 1846. Vorwort. S. VII–XIII.

созерцания и изображения ты проявлял всюду, даже в области критики и истории философии, всюду ты связывал абстрактное с конкретным, нечувственное с чувственным, логическое с антропологическим. — — — Раньше ты говорил и думал, по крайней мере, в противоположность формулярной философии: истинная философия есть та философия, которая отрекается от себя самой, которая высказывается не как философия, которая по форме, по внешнему облику — вовсе не философия; теперь ты прямо говоришь: истинная философия есть отрицание философии, вовсе не философия. Раньше ты думал и высказывал также, хотя не формально, буквально, но всё же фактически: истинное должно быть наличным, действительным, чувственным, наглядным, человеческим; теперь ты говоришь последовательно обратное: только действительное, чувственное, человеческое есть истинное».

Сложнее, но еще важнее для нас, другая сторона вопроса: содержание. Фейербах прямо признается, что в прежних своих работах он еще не постиг значения и истины чувственного существа, ибо подлинно действительное, чувственное существо принималось им за существо конечное, пустое, ничтожное. «То, — говорит он, — <что> отделяло, следовательно, твою прежнюю точку зрения от теперешней, было единственно недостатком в признании существенности и истины чувственности». Но как же Фейербах пришел к *этому* новому взгляду, как он возник в нем — путем *generatio aequivoca*⁸ или путем органического рождения? И на собственный вопрос Фейербах отвечает категорически: «Последним путем. Уже в этом твоём первом томе заключаются зародыши нового взгляда». Он считает, что, если он не сразу пришел к соответствующим выводам, то только потому, что это затруднялось природою разрабатываемого им предмета. Нужно было место и время, чтобы чувственно заняться чувственными вещами и существами и прийти, таким образом, к научному убеждению в реальности чувственности. «Однако само это убеждение на первых порах было всё еще только естественно-научным. А можно признавать истину чувственности в области естествознания, и, тем не менее, отвергать ее в области философии и религии, можно даже быть одновременно материалистом и спиритуалистом, одновременно светским вольнодумцем и духовным обскурантом, одновременно быть практическим атеистом и все-таки в теории совершенно верующим теистом». Как, спрашивает себя Фейербах, ты сам преодолел этот разлад? «Как от *естественно-научной* реальности чувственности

ты пришел к ее *абсолютной* [курсив мой] реальности? — Только путем признания, — отвечает он, — что существо, которое противоположают чувственности, как существо гетерогенное, само есть ничто иное, как абстрактное и идеализированное существо чувственности». К этому воззрению Фейербах пришел, прежде всего, в области религии *. Но первоначально он еще не считал его чувственным для себя, по крайней мере, теоретически, для своего сознания и познания. Перед ним еще витали призраки абстрактного разумного существа философии в отличие от действительного, чувственного существа природы и человечества. Даже «*Сущность христианства*», признает Фейербах, была написана, по крайней мере, частично, когда он не изжил еще этого противоречия **. И только в его «*Лютере*» *** оно действительно преодолено, — «лишь в нем ты полностью „страхнул“ философа, растворив полностью философа в человеке».

Всё вместе, т. е. оценку своих работ и со стороны внешней формы изложения, и со стороны содержания, Фейербах заключает следующими словами: «Вот как, следовательно, связаны твои сочинения; они содержат ничто иное, как историю, произвольное возникновение и развитие, следовательно, оправдание твоей теперешней точки зрения».

Уже из этого видно, насколько память изменила Чернышевскому. Фейербах ни в какой мере не отрекается от своих прежних работ и вовсе не утверждает, что место философии должно быть занято естествознанием. Обратно, не скрывая различий, характеризующих разные этапы своего философского развития, он, однако, видит в нем единство последовательности и устремленность к одному, решающему для его учения пункту: к принципу *чувственности*. Естествознание именно потому представляется ему недостаточным, что в нем реальность, истина чувственности не возводится в принцип, а остается простым фактом. Самый же принцип ему дорог, потому что дает возможность поставить на

* Grün, 96

** Grün, 94.

*** Речь идет о статье «Das Wesen der Glaubens im Sinne Luther's», 1844, вошедшей в этот же Первый том Собрания сочинений Фейербаха, S. 259–325. К этой статье, к тому важнейшему месту ее, которое Фейербах, по-видимому, имеет здесь в виду, мы еще будем иметь случай вернуться.

место отвлеченного существа живое человеческое чувствующее существо, а через посредство последнего и только через него разрешить самую насущную для Фейербаха проблему природы, сущности, тайны религии. Таким образом, Фейербах выступает перед нами, прежде всего, как *алогист и иррационалист*⁹. По одному этому уже Фейербах не мог питать замыслов о построении системы философии, как системы специальных наук: логики, эстетики, этики и т.д. в таком смысле, в каком мечтает о том именно «формулярная философия». Утверждение Чернышевского, что у Фейербаха на 41-м году его жизни не было уже сил заменить свои труды другими, оказывается психологической догадкой. Мы еще узнаем, как и чем сам Фейербах положительно мотивировал свою сосредоточенность на одной проблеме религии (см. ниже лекции о религии), сейчас остановимся на дальнейших рассуждениях Фейербаха, с целью показать, за что ухватилась память Чернышевского, чтобы дать целью пищу его воображению.

Непосредственно за приведенным заключением о прежних работах Фейербах переходит к характеристике своей новой, «теперешней» точки зрения. Он начинает с вопроса, который так хорошо запомнился Чернышевскому: «Но не является ли и эта твоя теперешняя точка зрения, может быть, уже устарелой?» (S. XIVf.) Ответ Фейербаха на собственный вопрос запомнился Чернышевскому гораздо хуже, в виду коротенькой формулы, которую Чернышевский воспроизводит дважды: «К сожалению, да, да!», «Leider, leider!» Именно нет,— ответ Фейербаха сложнее, содержательнее и очень важен для характеристики его интересов и определения его философской позиции. Его точка зрения, думает он, не определяется в смысле настоящего только в той его части, которая помешана на консервации и реставрации старого. Но есть в этом настоящем и другая сторона, всё внимание которой сосредоточено на политических и социальных реформах. Можно подумать, что вопросы религиозные, а тем более философские, вовсе ее не занимают. Однако, о чем же идет здесь речь? Не о бытии или небытии бога идет речь, говорят представители этой стороны, а о бытии или небытии человека, не о том, одной с нами сущности бог или не одной, а о том, равны или неравны друг другу мы, люди, не о том, чтобы воздать божье богу и кесарево кесарю, а о том, чтобы воздать человеку то, что ему принадлежит, не о том, христиане мы или язычники, теисты или атеисты, а о том, чтобы нам стать и быть людьми здоровыми душою и телом, свободными, полными

деятельности и жизни. «Concede ¹⁰, милостивые государи! — отвечает на это Фейербах, — Именно этого хочу и я. Тот, кто говорит и знает обо мне, только то, что я — атеист, не говорит и не знает обо мне ровно *ничего*. Вопрос, есть бог или нет, противоположность теизма и атеизма относятся к восемнадцатому и семнадцатому, но уже не к девятнадцатому веку. Я отрицаю бога, значит у меня: я отрицаю отрицание человека, вместо иллюзорного, фантастического, небесного положения человека, которое в действительной жизни становится отрицанием человека, я утверждаю чувственное, действительное, следовательно, необходимо также политическое и социальное положение человека. Вопрос о бытии или небытии бога именно у меня есть вопрос о бытии или небытии человека». Можно понять, что Чернышевский в 1888 г. не мог, по цензурным соображениям, излагать эти мысли Фейербаха, но истолкование их в смысле прямо им противоположном может быть объяснено или ошибкою памяти или недостаточным усвоением этих мыслей с самого начала ознакомления с ними.

Но откуда Чернышевский взял эти патетические *Leider, leider*? Они у Фейербаха имеются, но только в другом пассаже, в ином контексте и, следовательно, с другим смыслом. Своей теоретической точки зрения Фейербах не признал устарелюю, но, глядя на вопрос со стороны практической, он не мог не сознаться, что всё же его тема остается делом головы и сердца, тогда как зло — не в голове или сердце, а в желудке человечества. Но к чему ясность и здоровье головы и сердца, если болен желудок, основа человеческого существования? У одних всё, что бы ни пожелало их похотливое нёбо, у других ничего, в их желудке нет даже самого необходимого. Отсюда всё зло и страдания, даже головы и сердца. «Поэтому, то, что не направляется на познание и на устранение этого основного зла, бесполезный хлам. И к этомухламу относятся все без исключения твои сочинения. Увы, увы! (*Leider, leider!*)».

Таким образом, хотя Фейербах не считает свои взгляды устаревшими с точки зрения современности, он, как мы должны признать, в духе самой этой современности, высказывает тягостные для теоретического мыслителя сомнения. Пусть эти взгляды не устарели, но своевременно самое внимание к ним перед лицом насущнейших практических требований дня? Вопрос — жгучий для мыслителя, в особенности, когда счастливый деятель рядом с ним решает его так легко и победно! Ответ Фейербаха, хотя имеет значение не только личного, но и принципиального оправдания работы

мыслителя в минуту действия, прежде всего, раскрывает увлекательную личность этого страстного, всё подчиняющего своей идее и своему назначению, философа. От начала и до конца он был одушевлен твердою философскою верою в практическую правду своего дела, в жизненное право своего назначения мыслителя. Поэтому, и вышеформулированное сомнение он разрешает коротко и без лишней риторики. «Увы, увы! И всё же, однако, существует много зла, даже зла от желудка, которое имеет свое основание в голове. Вот я и поставил себе задачею когда-то, в силу внутренних и внешних побуждений, исследование и исцеление болезней головы и сердца человечества. Но то, что предпринято, то должно быть *tenax propositi* ¹¹ и выполнено, то, что начато, должно быть основательно, последовательно и завершено. Поэтому, я согласился и на это издание сочинений лишь под тем условием, что я не только становлюсь своим собственным, хотя и критическим, антикваром, но пользуюсь в то же время книжною пылью своего прошлого как удобением для порождения нового продукта, завершающего, по крайней мере, в общих чертах, мою тему».

Ошибочность умозаключений Чернышевского, сделанных им для восполнения того, что не удержалось в памяти, ясна. Но глубокое убеждение Фейербаха в непрерывности своего философского развития, определяемого одною основною идеею, и пренебрежение его к построению систематической философии в ущерб всестороннему раскрытию этой единой мысли — настолько характерны для Фейербаха и настолько важны для понимания всего его философского дела, что я считаю нужным остановиться еще на одном его собственном свидетельстве.

Лекции о сущности религии * Фейербах начинает обзором собственной литературной деятельности. Все свои труды он делит на две группы: одна обнимает его работы, касающиеся философии вообще и в особенности истории философии, другая имеет своим предметом религию или философию религии. «Но,— говорит он,— невзирая на это различие моих сочинений, строго говоря, все они имеют только одну цель, одну волю и мысль, одну тему. Эта тема есть именно религия и богословие и то, что с ними связано»

* Читаны Фейербахом во Франкфурте в декабре 1848 г. и в январе-феврале 1849 ¹², напечатаны в 1851 — VIII том первого Собрания сочинений. Цитирую по изданию Болина и Йодля: *Sämmtliche Werke, Achter Band*, 1908.

(I, Vorl., S. 6) ¹³. Эту единую целеустремленность Фейербах объясняет самую природу, складом своим *. Есть люди, говорит он, которые предпочитают продуктивную односторонность бесплодной многосторонности, которые на протяжении всей своей жизни видят перед собою одну только цель и вокруг нее концентрируют всё свое знание, жизненный опыт и деятельность. К таким именно людям причисляет себя Фейербах. В соответствии с этим, заявляет он, во всех его сочинениях никогда не выпадало из поля его внимания отношение к религии и богословию, так что он всегда разрабатывал этот главный предмет своего мышления и жизни. Разобрав последовательно с этой точки зрения свои исторические работы до *Пьера Бейля* (1838) включительно, Фейербах констатирует, что более поздних новейших философов он рассмотрит уже не как историк, а исключительно как критик. Его критика ведется на почве некоторого положительного принципа, который, хотя и не сразу в определенной форме, заявлен им уже в первых его теоретических работах. В то время как прежние философы разделяли религию и философию, ища опоры для первой в божественном авторитете, а для второй — в авторитете человеческом, новейшая философия их отождествляет, по крайней мере, по их содержанию, по существу. Уже в 1830 г., когда появились его *Мысли о смерти и бессмертии*, он упрекал гегелевскую философию в том, что, исходя из названного отождествления и находя, следовательно, только формальное различие между религией и философией, она существенное в религии делает несущественным, а несущественное — существенным. Ибо сущность религии в том именно и состоит, что философия превращает в простую форму. Принципиальная основа его протеста против такого отождествления раскрывается им, однако, позже. Она намечена в брошюре *О философии и христианстве* (1839), где мысль о неизгладимой разнице между религией и философией утверждается на том основании, что философия есть дело мышления, разума, а религия — дело душевного расположения (*Gemüth* ¹⁴) и фантазии. Религия, вопреки Гегелю ¹⁵, содержит в себе не только спекулятивные мысли в виде образов фантазии, согретых душевным теплом, напротив, она обладает отличною от мышления стихией, которая составляет не простую форму, а существо религии. «Эту

* NB! В неизданном *Предисловии* к Собранию сочинений — также религиозные мотивы: философия — позиция разума, религия — всего человека, отсюда иррационализм антропологический и т.д. — Grün, 97

стихию, — говорит Фейербах, — мы можем назвать в *одном* слове чувственностью, так как и душевное расположение и фантазия коренятся именно в чувственности. Тех, кто испытывает преткновение на слове: чувственность, потому что обычное словоупотребление понимает под ним только похотливость, я попрошу сообразить, что не только брюхо, но и голова есть чувственное существо. Чувственность у меня есть ничто иное, как истинное, не выдуманное и сделанное, существующее единство материального и духовного, поэтому она у меня значит то же, что действительность» (2. VorL, S. 15) ¹⁶. «Сам бог, — говорит он дальше, — есть чувственное существо, предмет созерцания, видения, правда не телесного, а духовного, т.е. созерцания фантазии» ¹⁷. Поэтому и различие между философией и религией, говоря коротко, по его словам, сводится к тому, что религия — чувственна, эстетична, тогда как философия есть нечто нечувственное, абстрактное.

Невзирая на то, что уже в своих ранних работах Фейербах признал это различие, т.е. признал сущность религии в философии, он всё же еще не мог признать, как он говорит, чувственности религии. Этому мешало, во 1-х, то, что чувственность религии, только фантастическая, стояла в противоречии с чувственностью действительности, или, говоря иначе, признание, утверждение чувственности в религии находится в противоречии с чувственностью, и во 2-х, то, что сам Фейербах, по его признанию, всё еще стоял на точке зрения отвлеченного мыслителя и не постиг полного значения чувств. Полного признания чувственности он достиг, когда, с одной стороны, возобновил более глубокое изучение религии, а с другой — обратился к чувственному изучению природы, — т.е., надо полагать, не к книжному изображению ее, а к непосредственному наблюдению и созерцанию ее в самой жизни, к чему, как он поясняет сам, его сельская жизнь давала прекраснейший повод. Таким образом, заключает Фейербах, лишь в позднейших философских и религиозно-философских сочинениях он выступил с решительною борьбою, как против абстрактной «нечеловечности философии, так и против фантастической, иллюзорной человечности религии» (ib., 16) ¹⁸.

Наконец, переходя к основной группе своих работ, предмет и содержание которых — те же, что и цитируемых нами *Лекций*, он заявляет, что здесь и заключается «мое учение, религия, философия или как бы вы это еще не назвали. Это мое учение вкратце состоит в следующем: *теология есть антропология*, т.е. в предмете рели-

гии, который мы называем по-гречески Теос, а по-немецки Gott, выражается не иное что, как сущность, человека, или: бог человека есть ничто иное, как обожествленная сущность человека, следовательно, история религии или, что — то же, бога есть — — — не иное что, как история человека» (3. VorL, S. 21) ¹⁹. Это учение Фейербах, по его мнению, развил сперва в *Сущности христианства* и в примыкающих к нему статьях 1844 г. (в частности, имеется в виду уже упоминавшаяся статья о Лютере), и в *Принципах философии* (Grundsätze der Philosophie der Zukunft, 1843) (ib. 24) ²⁰. Мы заключим всё это характеристикой, которую Фейербах дает своей работе *Сущность религии* (1845 г.), завершавшей круг мыслей, которые он сам называл своим «учением». Эта характеристика в особенности для нас важна, потому что она с недвусмысленной определенностью и исчерпывающей точностью показывает, какой действительный смысл имело обращение Фейербаха к естествознанию, какой поддержки он от него ждал и с какой стороны оно представлялось ему особенно ценным для раскрытия идеи, которую он считал своею главною и даже единственною целью. Так как в *Сущности христианства* предметом рассмотрения был бог только как моральное существо, то изложение «учения» всё еще оставалось неполным. Сущность религии должна была восполнить общую картину «учения», так как она вовлекала в анализ «естественную религию» и имела задачей раскрыть физические свойства бога, поскольку именно естественная религия своим главным предметом имеет «физического бога». Таким образом, как в *Сущности христианства* было показано, что бог, в своем качестве морального существа, т.е. со стороны своих моральных и духовных свойств, есть обожествленная и опредмеченная духовная сущность человека, и, следовательно, теология в своем основании и в своем конечном результате — ничто иное, как антропология, так в *Сущности религии* было показано, что бог физический, бог в качестве причины природы, звезд, деревьев, животных, человека, т.е. физических же существ, выражает ничто иное, как обоготворенную, персонифицированную сущность природы, и, следовательно, тайна физикотеологии — только физика или физиология, — физиология не в узком современном смысле, а в старом универсальном смысле, когда она обозначала естествознание вообще. И поэтому, заключает Фейербах, если можно было его учение формулировать в одном положении: *теология есть антропология*, то для полноты необходимо еще добавить: и *физиология* (ib., 26) ²¹.

Все эти собственные свидетельства Фейербаха настолько отчетливы и последовательны, что никаких дальнейших разъяснений и согласований не требуют. Чернышевский или не так уж хорошо знал Фейербаха, как ему самому казалось, или, действительно, он многое позабыл и перепутал. Конечно, можно обратить наш критический вопрос и к самому Фейербаху: насколько адекватно он сам изображал свое философское развитие? не выдвигал ли он на первый план то, что прежде занимало у него только подчиненное место, и не затушевывал ли он в обзорах своего философского развития то, что можно было признать более характерным и более ответственным для его прошлого? Но входить в рассмотрение этого вопроса здесь для наших целей нет ни места, ни надобности. Это необходимо было бы сделать только в том случае, если бы Чернышевский сознательно расходился с Фейербахом в оценке развития последнего, если бы он прямо указал, что он, вопреки собственным заявлениям Фейербаха, считает правильным свое изображение философского пути Фейербаха. Но Чернышевский прямо ссылается на Фейербаха, в убеждении, что он только воспроизводит суждения, высказанные Фейербахом. Поэтому, целесообразнее было бы задаться совсем другим вопросом: если старческое *Предисловие* Чернышевского не является продуктом ослабленной памяти автора, если оно в точности воспроизводит, то отношение к Фейербаху, которое вдохновляло юношескую диссертацию Чернышевского, то возникает сомнение, достаточно ли и тогда, в дни юности, Чернышевский знал Фейербаха, достаточно ли глубоко его усвоил, понял ли его, действительно ли проникся им в такой мере, чтобы иметь право назвать себя фейербахианцем? Нужно прямо сказать, что этот-то вопрос я и считаю центральным в аргументации настоящей работы. Но прежде, чем перейти к сравнительному анализу идей Фейербаха и Чернышевского, полезно завершить разбор внешних, биографических данных, имеющих отношение к нашей теме. Для этого надо обратиться ко второму из выше формулированных пунктов: насколько верно *Предисловие* Чернышевского изображает его знакомство с Фейербахом в период составления *Диссертации*?

II. Чернышевский в *Предисловии* сообщает следующее: «Автор брошюры, к третьему изданию которой пишу я предисловие, получил возможность пользоваться хорошими библиотеками и употреблять несколько денег на покупку книг в 1846 году. До того времени он читал только такие книги, которые можно доста-

вать в провинциальных городах, где нет порядочных библиотек. Он был знаком с русскими изложениями системы Гегеля, очень неполными. Когда явилась у него возможность ознакомиться с Гегелем в подлиннике, он стал читать эти трактаты. В подлиннике Гегель понравился ему гораздо меньше, нежели ожидал он по русским изложениям. Причина состояла в том, что русские последователи Гегеля излагали его систему в духе левой стороны гегелевской школы. В подлиннике Гегель оказывался более похож на философов XVII века и даже на схоластиков, чем на того Гегеля, каким являлся он в русских изложениях его системы. Чтение было утомительно по своей явной бесполезности для формирования научного образа мыслей. В это время случайным образом попало желавшему сформировать себе такой образ мыслей юноше одно из главных сочинений Фейербаха. Он стал последователем этого мыслителя; и до того времени, когда житейские надобности отвлекли его от ученых занятий, он усердно перечитывал и перечитывал сочинения Фейербаха.

Лет через шесть после начала его знакомства с Фейербахом представилась ему житейская надобность написать ученый трактат. Ему казалось, что он может применять основные идеи Фейербаха к разрешению некоторых вопросов по отраслям знаний, не входивших в круг исследований его учителя. Предметом трактата, который нужно было ему написать, должно было быть что-нибудь относящееся к литературе. Он вздумал удовлетворить условию изложением тех понятий об искусстве и в частности о поэзии, которые казались ему выводами из идей Фейербаха. Таким образом, брошюра, предисловие к которой пишу я — попытка применить идеи Фейербаха к разрешению основных вопросов эстетики.

Автор не имеет ни малейших претензий сказать что-нибудь новое, принадлежащее лично ему. Он желал только быть истолкователем идей Фейербаха в применении к эстетике» (Т. X, ч. 2, стр. 191–192) ²².

И затем в конце своего *Предисловия* Чернышевский повторяет: «Автор брошюры, — — —, высказывал в ней, насколько мог, что придает важность только тем мыслям, которые взял из трактатов своего учителя, — что эти страницы его брошюры составляют всё достоинство, какое может быть находимо в ней; те выводы, какие он делал из мыслей Фейербаха для разрешения специальных эстетических вопросов, казались ему в то время правильными; но он и

тогда не считал их особенно важными. Он был доволен своим небольшим трудом лишь в том отношении, что ему удалось передать на русском языке некоторые из идей Фейербаха в тех формах, какие представляла тогда для подобных работ необходимость сообразоваться с условиями русской литературы. — — — Вообще автору принадлежат только те частные мысли, которые относятся к специальным вопросам эстетики. Все мысли более широкого объема в его брошюре принадлежат Фейербаху. Он передавал их верно и насколько допускало состояние русской литературы близко к изложению их у Фейербаха» (196–197) ²³.

Руководствуясь *Дневниками и Письмами* * Чернышевского, мы можем установить нижеследующие хронологические даты. В петербургский университет Чернышевский поступил в 1846 г., и в мае-июне 1850 г. сдал выпускные экзамены и подал Никитенку кандидатскую диссертацию о *Бригадире* Фон-Визина **. Лето 1850 г. он провел в Саратове; в августе он снова в Петербурге, где осень у него уходит на выполнение работ для Срезневского, в хлопотах об учительском месте, в сдаче соответствующего экзамена (пробные лекции) при Втором кадетском корпусе, в каковой Чернышевский и определился на службу в декабре того же 1850 г. ²⁵ Описывая хлопоты, связанные с получением места, Чернышевский, между прочим, жалуется: «Здесь [в Петербурге] решительно нет и не будет никогда свободного времени, потому что всё одно за другим исполняются чужие дела, от которых ввек не освободишься (сначала Срезневский ²⁶, после этот Мерк ²⁷, после вот Ир. Ив. ²⁸, после снова придется у Срезневского и т.д., и т.д. до бесконечности), так что, когда придешь домой, то чувствуешь себя усталым и большую часть того времени, как бываешь дома, только спишь» (Дн., 535) ²⁹. — Прослужив в Петербурге месяца четыре (Дн., 571) ³⁰ Чернышевский весной 1851 г. вновь переезжает в Саратов, где остается учителем саратовской гимназии до мая 1853 г. В самом начале этого мая Чернышевский, после смерти матери и собственной женитьбы, опять переезжает в Петербург, где возобновляет хлопоты

* Н. Г. Чернышевский. Литературное наследие. Т. I–II. Гос. Изд-во, 1928. — Дневники в 1-м томе, Письма — во 2-ом.

** Но диплом Чернышевский получил только осенью, так как Никитенко затерял рукопись Чернышевского, и Чернышевский должен был еще раз переписать и вновь подать свою работу Никитенку (Дневн., стр. 529) ²⁴.

ты о приеме его вновь на службу во Второй кадетский корпус. Определение на службу состоялось лишь в январе 1854 г. (Пис., 216, стр. 185 прим. ред.)³¹. С переездом Чернышевского в Саратов в 1851 г. прекращается переписка Чернышевского с родными, а вместе с тем он прерывает и свой Дневник. Дневник возобновляется в самом конце 1852 г., а переписка с отцом, естественно, с мая 1853 г. Таким образом, с середины <18>51 г. и до конца <18>52 труднее всего восстановить образ жизни и занятий Чернышевского, опираясь на его собственные показания. Есть, однако, одна общая характеристика жизни Чернышевского, не лишенная интереса и сделанная им в письме к Срезневскому (16 ноября 1851 г., Пис., 320). «Теперь я должен отдать Вам отчет в том, почему так замедлилось окончание моего словаря. — Некоторые из причин замедления этого так просты, что не нужно и распространяться о них; например, то, что я, очутившись в семейном кружке, довольно долго не мог приняться ни за какую работу; что иногда довольно много времени отнимают у меня занятия по гимназии; что, наконец, с месяц я был болен и не мог работать. Но есть одно обстоятельство, Измаил Иванович, — это знакомство с Николаем Ивановичем Костомаровым³², оно отнимает у меня довольно много времени, которого я, однако, не назову ни в каком случае потерянным»³³. Таким образом, как ни недостаточны наши сведения в частности, подневно, о жизни Чернышевского в указанный период, общий курс ее освещен Чернышевским. И на фоне этой характеристики можно наметить некоторые пункты внешней истории его магистерской диссертации, приводящие к моменту, когда «представилась ему житейская надобность написать ученый трактат»³⁴.

Мысль о возможности научной карьеры возникала у Чернышевского очень рано и, например, будучи на третьем курсе, он уже заносит в свой Дневник: «Ныне утром, когда я лежал еще, вздумалось мне — по какой кафедре держать на магистра? Может быть, кроме славянского [т.е. у Срезневского] и истории [у Куторги³⁵], я бы колебался между философией [у Фишера³⁶] и русской словесностью [у Никитенка] — эти последние, особенно философия, пришли мне с давнего времени в первый раз на мысль» (Дн., 1848, сент. 23, стр. 281)³⁷. То же колебание обнаруживается у Чернышевского к самому концу его университетского курса по поводу кандидатской работы. (Ср. Дн., 509)³⁸. В письме к родителям от 31 янв. 1850 г. он рассуждает: если достанет времени, он напишет работу по истории у Куторги, а если времени на это

будет недостаточно, он напишет Никитенку из истории русской литературы, что не потребует большого количества подготовительной работы, т. ч. «на это понадобится разве недели две, чтобы уже написать предлиннейшую и даже прекраснейшую». (Пис., 159–160) ³⁹. Однако, можно думать, что и теперь его продолжала влечь к себе философия, так как уже в следующем письме он мечтает о работе у Фишера: «что-нибудь из истории философии, например хоть о Лейбнице» (7 февр., стр. 161) ⁴⁰, подтверждая свое желание и в еще более позднем письме (21 февр., стр. 163) ⁴¹. Это его желание осталось невыполненным только благодаря отказу Фишера. Мотивы отказа этого апологета реакции * характерны для психологии самой реакции. Дня через два после названного письма Чернышевский беседовал с Фишером и занес в свой дневник следующее: «В пятницу спросил Фишера, когда входил он в аудиторию: „Позвольте посоветоваться с вами — я хотел бы писать диссертацию для вас“. — „Не делайте этого, пожалуйста: не советую. Неудобное время“ — это я помню слово в слово» (503) ⁴³. Лишь после этого Чернышевский обратился на следующий же день к Никитенку. В Дневнике записано: «В субботу спросил поэтому у Никитенки, который сказал: „Что же, о трех наших комиках: Фонвизине, Шаховском, Грибоедове, конечно, с осторожностью“ ⁴⁴ **. Я сказал, что постараюсь. Но, может быть, о тех не успею, теперь хочу о Фонвизине одном, — — —» (ib.) ⁴⁷. Свою тему Чернышевский еще ограничил и 20 мая сдал Никитенку «Бригадира» (513) ⁴⁸. Этим и завершается первый этап ученой карьеры Чернышевского, наступает то время, «когда, — как говорит он в *Предисловии*, — житейские надобности отвлекли его от ученых занятий» ⁴⁹.

* О Фишере см. мой *Очерк развития русской философии* ⁴².

** Эту «осторожность», по-видимому, проявил сам Никитенко, когда, выключив Грибоедова, формулировал эту тему, как тему медленной работы на 1852–53 гг.: «Рассмотреть и сравнить главные комедии Сумарокова, Фон-Визина, Княжнина и князя Шаховского ⁴⁵ в отношении к форме и языку и в заключение представить общий взгляд, на какую степень эта отрасль словесности была возведена у нас означенными писателями» (удостоены были золотых медалей студент IV курса А. Пыпин и студент II курса О. Миллер ⁴⁶), — Имп. Спб-ий университет, Историческая записка, составлена проф. В. В. Григорьевым. Спб. 1870. Прил. IV, стр. XLXII–VIII

Случайно в тот же день, когда Чернышевский отнес свою кандидатскую Никитенку, он встретил Срезневского, который задал ему вопрос: «Что же, вы станете держать на магистра?» — «Конечно, но по чему — не знаю, должно быть придется по вашему предмету», и поговорил несколько об этом», — отмечает Чернышевский в Дневнике (20 мая 1850 г., 513) ⁵⁰. Менее, чем через месяц, заканчивая свой студенческий Дневник и готовясь к отъезду в Саратов, Чернышевский пишет: «Так кончается моя университетская жизнь. — В Саратове буду делать словарь Ипатьевской летописи — — —; приехавши сюда в первых числах августа — хлопотать о месте в Дворянском полку и готовиться на магистра» (14 июня, Дн., 518) ⁵¹. Имея в виду приведенный разговор с Срезневским, надо полагать, Чернышевский думал здесь об магистерском экзамене именно по его предмету. За два года пребывания в Саратове решение Чернышевского не изменилось. Как можно видеть из цитированного уже письма к Срезневскому, свободное время, на недостаток которого Чернышевский жалуется, он отдавал работе над словарем, в связи с чем у него возникла мысль воспользоваться материалом Летописи и для диссертации. «...если выбирать, — пишет он (стр. 319) ⁵², — предметом диссертации что-нибудь из русского, мне должно будет избрать предметом своей диссертации не самый язык летописи Ипатьевской, а разъяснение какой-нибудь стороны нашей истории или древностей материалами преимущественно филологическими — — —». Из Дневника, относящегося к предпоследнему месяцу пребывания Чернышевского в Саратове, видно, что за время этого пребывания кое-что им было и сделано для этой диссертации. Так, 5-го марта он записывает: «...Стал думать о диссертации. Решил, прежде всего, отделить места, написанные не напыщенным языком, от напыщенного и написал несколько строк предисловия» (681) ⁵³. 8-го марта: «С завтра начинается диссертация» ⁵⁴. 10-го он, действительно, «начал писать диссертацию», но в этот же день Чернышевский делает и следующую заметку, относящуюся к 9-му марта: «Если к 15 числу [апреля?] не будет готова диссертация о Ипатьевой.., в 10 дней напишу что-нибудь другое, напр., теперь думаю — о заслугах Гумбольдта в теории сравнительного языкоизучения» (683) ⁵⁵ *. Кажется,

* Чернышевский ознакомился с Гумбольдтом ⁵⁶, когда готовился к пробной лекции в Кадетском корпусе, осенью 1850 г. (Дн., 529) ⁵⁷.

однако, что более двух дней работа над диссертацией у Чернышевского не продолжалась *, — Чернышевский слишком поглощен своей любовью, а затем присоединяются еще заботы, связанные с болезнью матери. Во всяком случае, уже с 12-го в Дневнике пестрят отметки: «...Тосковал страшно, так что не мог приняться за работу...», «...работать некогда...» (13-го), «Работал весьма мало, потому что беспокойство некоторое от моей любви...» и т. д. (18-го), «Я не мог работать от тоски» (21-го) ⁵⁹.

Все эти справки полезны для нас в том отношении, что с несомненностью устанавливают намерение Чернышевского магистриваться у Срезневского. Этим заняты его мысли, с этим связаны его планы работы в Петербурге, этим заполнены его досуги. Поэтому, когда в другом Дневнике того же времени, — «Дневник моих отношений с тою, которая теперь составляет мое счастье», — дневнике странном, но интересном, как «человеческий документ», — встречаются указания на планы магистерских экзаменов и диссертации, они связываются у Чернышевского единственно с работой для Срезневского (Дн., 663, — 27-го марта) ⁶⁰. В одном месте этого Дневника он даже детализует свой петербургский план, и это место для нас особенно интересно, потому что оно проливает некоторый свет на то, как Чернышевский пришел к той форме своей магистерской диссертации, в которой она была осуществлена. 14-го марта он записывает: «Что будет по моем приезде в Петербург? Примусь готовиться к экзамену, это до обеда. Приеду, если в половине мая, до половины августа это будет три месяца. Успею приготовить весьма хорошо. Должно будет изучить для Никитенки F[?]ischer's ⁶¹ Aesthetik — это одна неделя; две недели на историю литературы для Никитенки. Одна неделя для Устрялова. Два месяца для Срезневского. Устный экзамен кончу в две недели. Если диссертация — ее успеет просмотреть Срезневский до начала каникул, и в два месяца успею напечатать — будет готова к защите к началу сентября, буду защищать, если не помешает Совет, в начале сен-

* 10-го: «занимался работою по диссертации — глава о согласовании слов; увидя ее трудность и многосложность, решил оставить до после, — — —» и т. д.; 11-го: «Весь день писал материалы для своей диссертации. О управлении слов. Завтра «согласование». — — — Работаю довольно прилежно. — — — Начинаю работать с удовольствием, — — —». (Дн., 683) ⁵⁸.

тября, — — —» (646)⁶². Из этого отрывка мы видим, 1, как натолкнулся Чернышевский на Фишера, разбор некоторых мыслей которого и составляет содержание его действительной диссертации, и 2, видим, что диссертацию Срезневскому он собирался привести с собою в готовом виде, или, в крайнем случае, закончить ее непосредственно по приезде в Петербург, чтобы подать до каникул. Обстоятельства, однако, сложились так, что в Саратове Чернышевский не мог работать над диссертацией, и привез с собою в Петербург только *Словарь*. Но и в Петербурге на первых порах ему было не до работы. Помимо того, что ему пришлось вновь хлопотать и о службе, и о зарплате, общие условия жизни с молодою женою, необходимость найти квартиру, устроиться и т.п. мало благоприятствовали усиленным занятиям наукою. «У меня теперь много работы, — сообщает Чернышевский отцу, — так что я дорожу каждою минутою. Почти ничего даже не читаю — некогда» (Пис. 13 июля 1853 г., стр. 191)⁶³ *.

Среди прочей работы, по-видимому, немало времени отнимал у Чернышевского его *Словарь*: последние исправления и сильные сокращения для печати, а затем и корректура, — об этом он также пишет отцу в письмах этого лета. Диссертацию он из-за этого откладывает: «На днях, — пишет он 20-го июля, — кончу эту работу и примусь за свою диссертацию» (Пис. 192)⁶⁵. Однако выполнить свое намерение, написать диссертацию у Срезневского, Чернышевскому так и не удалось. Личные отношения со Срезневским у Чернышевского были превосходные **, как впрочем, и с другими профессорами, и причину неудачи Чернышевского можно видеть

* Ср. Пис. от 21 сент. 1853 г. стр. 199–200⁶⁴: «Одно здесь в Петербурге меня сильно досадует» — — — и до «это досад, меня чрезвычайно». Ляцкий (Чернышевский и его диссертация об искусстве, «Голос Минувшего», 1916, 1, с. 8), считает, что «заботам о своем материальном благосостоянии» Чернышевский мог уделять, по приезде в Петербург, мало времени. Лишь в письме к отцу «докучливая забота» выступает на первый план. «Пусть нас не удивляет, что эти письма лишь косвенно отражают его внутренний мир в то время: мы знаем...» Это замечание вообще справедливо относительно писем Чернышевского к отцу. Но нам здесь интересны как раз не «глубокие переживания» Чернышевского, а внешние обстоятельства, сопровождавшие подготовку его диссертации, и об них Чернышевский говорит с достаточною обстоятельностью.

** См. Письма 183, 185⁶⁶.

лишь в том, что он слишком торопился. Он выбрал предмет Срезневского, — славянские наречия, — по которому был меньше всего подготовлен. Еще в саратовских планах, как мы видели, распределяя работу по подготовке к экзамену на три месяца (май, июнь, июль) и оставляя на другие предметы по неделе, по две, на подготовку к экзамену Срезневского он рассчитывал употребить два месяца. И это — при предположении, что он привезет с собою готовую диссертацию. В Петербурге время шло, работою и житейскими хлопотами Чернышевский был переобременен, а между тем прошение об магистерском экзамене было уже подано. И экзамены были назначены на сентябрь (см. Пис. от 25-го мая, стр. 184) ⁶⁷. Положение создалось, действительно, затруднительное: 20-го июля он только собирается «на днях» приняться за диссертацию, 10-го августа, — т.е. приблизительно, когда рассчитывал, по саратовскому плану, закончить подготовку к экзамену, Чернышевский всё еще волнуется тем, что «Магистерский экзамен надобно покончить скорее» (Пис. 193) ⁶⁸.

При таких обстоятельствах не кажется странным, что Чернышевский быстро меняет свое намерение, отказывается от экзамена и диссертации у Срезневского и решает магистриваться у Никитенка по предмету более знакомому — русской словесности. Решение это могло состояться в конце августа или в самом начале сентября. Во всяком случае, в середине сентября Чернышевский подает «новую просьбу» о магистерском экзамене (Пис. 198), вызванную, надо думать, переменою главного предмета. Отцу он сообщает: «Здесь я рассчитал, что выгоднее для меня держать экзамен по словесности, а не по славянским наречиям» (14-го сент., 198) ⁶⁹, и через неделю еще раз: «Я, кажется, еще не писал Вам, милый папенька, что, рассмотрев обстоятельства ближе и посоветовавшись кое с кем, я увидел, что лучше держать экзамен по словесности, нежели по славянским наречиям. Диссертацию свою пишу об эстетике» (Пис., 199) ⁷⁰. Возможно, что на новое решение оказало влияние его намерение писать статьи об эстетике для «Отечественных записок», о чем нам также известно из одного летнего письма Чернышевского к отцу: «Теперь дожидаясь книг (немецких), чтобы начать статьи об эстетике» (20-го июля, Пис. 192) ⁷¹. Среди этих книг могли быть «Эстетики» Фишера и Гегеля, которыми Чернышевский воспользовался для магистерской диссертации, а также книга Эдуарда Мюлера, *Geschichte der Theorie der Kunst bei den Alten*,

В. I, 1834; В. II, 1837, которая, как увидим, послужила источником для рецензии Чернышевского на русский перевод Поэтики Аристотеля.

Новым решением дело с диссертацией было сдвинуто с мертвой точки, на которой оно застряло. Уже 7-го сентября Чернышевский извещает отца: «Половина, или, лучше сказать, $\frac{3}{5}$ моей диссертации готовы; в пятницу [11-го?] отдам ее по принадлежности, чтобы увериться вперед, годится ли она. Она будет невелика, всего от 80 до 100 страниц, хотя легко было бы и даже нужно было бы придать ей гораздо больший объем. Мысли в ней только высказываются в общих чертах; следствий и приложений почти не вывожу, потому что в таком случае понадобилось бы написать два тома листов по 35 печатных. — — — Работаю довольно много, или по крайней мере всё время, которым могу располагать» (Пис., 197) ⁷². Через две недели в письме к отцу Чернышевский возвращается к диссертации и на этот раз дает даже некоторую характеристику ее: «Я отдавал Никитенке часть своей будущей диссертации, чтобы узнать наперед, во всех ли отношениях она годна; Никитенко сказал, что переделывать ее не понадобится. Обеспечив себя с этой стороны, я принялся за приготовление к экзамену своему и думаю начать его в этом месяце. — — — Диссертацию свою пишу об эстетике. Если она пройдет через университет в настоящем своем виде, то будет оригинальна, между прочим, в том отношении, что в ней не будет ни одной цитаты, а всего только одна ссылка. Если же найдут это не довольно ученым, то я прибавлю несколько сот цитат в три дня. По секрету можно сказать, что гг. здешние профессора словесности совершенно не занимались тем предметом, который взял я для своей диссертации, и поэтому едва ли увидят, какое отношение мои мысли имеют к общеизвестному образу понятий об эстетических вопросах. Им показалось бы даже, что я приверженец тех философов, которых мнения оспариваю, если бы я не сказал об этом ясно. Поэтому я не думаю, чтобы у нас поняли, до какой степени важны те вопросы, которые я разбираю, если меня не принудят прямо объяснить этого. Вообще у нас очень затмилась понятия о философии с тех пор, как умерли или замолкли люди, понимавшие философию и следившие за нею» (Пис. 21-го сент. 1853 г., стр. 199) ⁷³.

С точки зрения нашей темы два пункта этого сообщения остаются на себе внимание. 1. Чернышевский пишет, что у него

«не будет ни одной цитаты» и всего только одна ссылка *, что действительности не соответствует **, — как на это уже было обращено внимание в литературе о Чернышевском ***. 2. Чернышевский считает, что у нас затмились понятия о философии с тех пор, как «умерли или замолкли люди, понимавшие философию», — кого же он здесь имеет в виду? Отмечаю только эти пункты, чтобы вернуться к ним позже, когда в этом будет надобность.

Итак, с составлением новой диссертации Чернышевский закончил сравнительно быстро. Однако, для дальнейшего продвижения диссертации, как и для магистерского экзамена, встретились новые препятствия, уже от самого Чернышевского не зависевшие. В письме к отцу 12-го октября он оправдывает замедление в экзамене тем, что факультет занят экзаменами других магистрантов (202) ⁷⁵, и с своей стороны торопит декана с назначением экзамена (Пис., 9 ноября, стр. 206) ⁷⁶. Назначенный на 16-ое ноября экзамен не состоялся, так как не все профессора были предупреждены (стр. 209) ⁷⁷, и его пришлось вновь отложить. И лишь 29-го ноября Чернышевский сообщает отцу. «Наконец начался мой экзамен в прошедшую среду [25-го?]; следующее заседание факультета будет в понедельник 7 числа; весь устный экзамен состоит из трех заседаний по числу предметов экзамена. Я начал с главного, с русской словесности; остаются дополнительные — слав, наречия и русская история. Никитен-

* То же самое, однако, Чернышевский повторит в письме к отцу 3.V.1855 г., когда Диссертация была уже напечатана: «Во внешнем отношении она имеет ту особенность, что нет в ней ни одной цитаты — — — наперекор общей замашке шарлатанить этою дешевою ученостью» (стр. 254) ⁷⁴.

** Есть здесь еще неточность: будто отсутствием цитат и ссылок диссертация Чернышевского будет «оригинальна». Обратное — вернее: в то время еще не исчез академический обычай понимать под «диссертацией» ученое рассуждение, которое, как правило, не снабжалось вовсе или, по крайней мере, большим количеством цитат и ссылок ученого характера. Чтобы не ходить далеко за примерами, достаточно только сослаться на учителя Чернышевского Никитенку, в (докторской) диссертации которого («О творящей силе в поэзии»), действительно, нет ни единой цитаты и ни единой ссылки. Никитенко даже распространил эту манеру и на прочие свои научные труды.

*** Ляцкий, «Голос минувшего», 1916, 1, стр. 22 прим. Мы увидим ниже, что и Ляцкий считал не все цитаты.

ко был так добр, что экзаменовал только для формы, и его экзамен продолжался не более четверти часа, с рассуждениями о посторонних предметах, например, с толками о различных анекдотах и об русском человеке вообще. Если Устрялов будет экзаменовать так же, то мой экзамен будет очень длинен в протоколах заседания, но не на самом деле» (стр. 211) ⁷⁸. 7-го декабря Чернышевский выдерживает экзамен по русской истории и еще два экзамена (словесность была разделена на два экзамена) откладываются на январь 1854 г.; фактически экзамены были закончены лишь великим постом 1855 г. (Пис. 252) ⁷⁹ *. «Эти экзамены, — пишет он, — я думаю, будут также больше только формальностью, нежели серьезными экзаменами. Впрочем, для меня всё равно готовиться на всякий случай необходимо, и они отнимают много времени. До сих пор все господа экзаменаторы были ко мне очень добры, так что я не могу не быть им благодарен» (14-го дек., стр. 214–215) ⁸⁰. Экзамены, в конце концов, были благополучно закончены, но лишь осенью, в сентябре, Чернышевский возвращается к своей диссертации. «Дело о моем магистерстве, так несносно тянувшееся, опять подвигается: скоро начну печатать свою диссертацию. Из этого не следует, однако, чтобы конец был уже близок; хорошо было б, если б диспут был назначен через два месяца. Я на это не рассчитываю и сочту себя счастливым даже тогда, когда это несносное дело покончится к Рождеству. Все обращаются с ним, как <если> бы это была формальность, но легче ли оттого мне, что, не думая подвергать дело сомнению, оставляют его лежать от одной недели до другой!?» (14-го сент., стр. 225) ⁸¹. «Дело о моем магистерстве приближается к окончанию, — — — . К зиме вероятно оно окончится. Если бог даст и университетские мои старые знакомые будут думать обо мне по-прежнему, то по истечении годичного срока немедленно приступлю к докторскому экзамену, который однако же потребует от меня несколько занятий, не так как магистерский, который не стоил мне никаких забот, хотя и тянется чрезвычайно долго» (21-го сент., стр. 225–226) ⁸². И только в конце сентября он пишет: «Моя диссертация теперь отдана уже переписчику для представления в Совет университета. Никитенко наконец удосужился прочитать ее и несколько дней тому назад уполномочил

* Документальные подробности у Ляцкого, «Голос минувшего», 1916, 1, 19–20.

члена пустить ее в дело» (28-го сент., 226) ⁸³. Несмотря на то, что Чернышевский в течение последнего года целиком ушел в журналистскую работу, которая поглощала всё его время, он не переставал мечтать об ученой карьере. Он сообщает отцу о своей крайней занятости: «Половину месяца читаешь то, о чем надобно будет писать, другую половину пишешь» (26-го окт., 1854 г., стр. 230) ⁸⁴. И в то же время он не хочет разорвать связи с университетскими профессорами и тяготившую его службу в Корпусе готов сменить на профессию. «Я почти нигде не бываю, кроме как у людей, к которым приводят дела — у Краевского и Некрасова, которые доставляют возможность жить, и оба любят меня, если не за другое что, то за точность в исполнении того, что нужно, всегда к сроку; потом у Срезневского и Никитенки, чтобы не разрывать связей, которые могут пригодиться. На днях отдаю свою диссертацию на утверждение факультета; теперь есть средства напечатать ее» (16-го ноября, стр. 233) ⁸⁵. — «Теперь я служу в Корпусе почти только для того, чтобы считаться на службе. Жалованье не доставляет мне столько, сколько я теряю времени на уроки.

Учительская служба, как и всякая другая, не в моем характере. Единственные места, которые занимал бы я с удовольствием и о которых был бы готов просить — профессора в университете или библиотекаря в Публичной Библиотеке» (22-го ноября, стр. 235) ⁸⁶.

Скоро после этого Чернышевский узнает от декана (Устрялова ⁸⁷), что диссертация «приближается к утверждению для печати» (Пис., 239) ⁸⁸, но утверждена она была факультетом, как то значится на обороте титульного листа первого ее издания, лишь 11 апреля 1855 г. Чернышевский досадует на такое промедление, но продолжает объяснять его только случайным течением обстоятельств, и он уже сожалеет, что стал держать экзамен у Никитенки. «Я надеюсь, — пишет он отцу, — скоро напечатать свою несчастную диссертацию, которая столько времени лежала и покрывалась пылью. Эта жалкая история так долго тянулась, что мне и смешно, и досадно. И тогда я думал, и теперь вижу, что всё было только формальностью; но формальность, которая должна была окончиться в два месяца, заняла полтора года. Это очень досадно. Конечно, если бы можно было предвидеть, что Никитенко, от которого зависело движение дела, будет беспрестанно болен — только в последнее время он поправился — то можно было бы держать экзамен по другому предмету. Но кто же это знал? И вот в результате оказывается, что все были ко мне до-

бры в высшей степени, а дело все-таки тянулось невыносимо долго. Но теперь оно уже дотянулось до окончания» (4 апр. 1855 г., стр. 251) ⁸⁹. — «После слишком долгих проволочек мои дела по магистерству достигли окончания: диссертация моя уже печатается, и через три недели, вероятно около 10 мая, будет диспут. Если бы я знал наперед, что это дело будет тянуться около полутора года, конечно, я стал бы держать экзамен по какому-нибудь другому предмету, а не по русской словесности; но если бы мне сказали наперед, что он будет тянуться полтора года, я не поверил бы этому. Но что делать, так расположились обстоятельства. В нынешнем 1854–1855 году совершенно не было экзаменуемых на магистра по филологическому факультету — но, на мою беду, в прошедшем было их человек шесть или семь, и все были официально понуждаемы своими начальствами — — — к скорейшему окончанию дела для возвращения к должности. Один я был здешний и держал экзамен не по настоянию и не под покровительством министерства — следовательно, занятый другими магистрантами, факультет всегда отлагал мои экзамены — и для меня три заседания растянулись, вместо двух недель, на пять месяцев. Правда, эти заседания в <общей> сложности продолжались три часа, но полчаса отняло почти полгода, и устные экзамены мои кончились, уже не помню, когда именно, но великим постом, и Никитенко отложил рассмотрение моей диссертации до каникул; во время каникул Норов ⁹⁰ начал поручать ему множество всяких дел, — и ему было не до моих тетрадей. Потом он был болен, потом опять занят делами, потом опять болен, и эта история кончилась месяца полтора тому назад. Тут только началось рассмотрение диссертации, пролежавшей в пыли около года. С месяц потом было употреблено на чтение другими членами факультета, и только 11 апреля она была утверждена. Но теперь все случаи проволочек миновались, и делу предстоит конец. — — — Скучное дело ожидание, особенно, когда задержка от одной формы, потому что вся эта длинная процедура была чисто только формальностью» (19-го апр. 1855 г., стр. 252) ⁹¹.

Наконец, диспут состоялся, и Чернышевский дает о нем отцу нижеследующий отчет: «Диспут мой был во вторник, 10 мая, — — — . Заключился он обыкновенным концом, т.е. поздравлениями, потому что диспут чистая форма. Никитенко возражал мне очень умно, другие, в том числе Плетнев, ректор, очень глупо. Впрочем, и Никитенко повторял только те сомнения, которые

приведены и уже опровергнуты в моем сочиненьишке, которое, как ни плохо, всё же основано на знакомстве с предметом, почти никому у нас не известным, потому и не может иметь серьезных противников, кроме разве двух-трех лиц, к числу которых не принадлежит ни один из людей мне известных. Диспут продолжался очень недолго, всего 1 1/2 часа, потому что присутствовал попечитель Мусин-Пушкин ⁹², который добрый человек, но не совсем благовоспитан в обращении и потому всегда стесняет своим присутствием. — Я думал, что придется мне говорить что-нибудь дельное в ответ на возражения или, по крайней мере, по поводу их — но они были так далеки от сущности дела, что и ответы мои должны были касаться только пустяков. Одним словом, диспут мог для некоторых показаться оживлен *, но в сущности был пуст, как я впрочем и предполагал. Не предполагал я только, чтобы он был пуст до такой степени» (16-го мая 1855 г., стр. 256) ⁹⁵.

Таким образом, мы видим, что Чернышевский до конца был убежден в том, что на его пути стояли только случайные обстоятельства и чисто формальные препятствия. Это его убеждение и точная картина всех обстоятельств, связанных с магистерством Чернышевского, как она вырисовывается из собственных писем его, опровергают те легенды, которые создались на основании неточных воспоминаний, в особенности Шелгунова ⁹⁶, и тех домыслов, которые приносились к этому с течением времени, в особенности с момента его глупого ареста и бесчеловечной кары за несодеянное преступление. Приведу только один образчик, — самый краткий, суждений, которые сплетались в истории литературы на почве легенды и вымысла, подсказанного позднейшею судьбою литературной деятельности Чернышевского и ролью, какая выпала на его долю в русской журналистике: «Публика, битком набившаяся в аудиторию, и литература [!] приветствовали диссертацию как напутственное благословение [какая дивинация ⁹⁷ публики!..] на широкую, великую, честную работу;

* Эти слова служат, по-видимому, репликою на слова Пыпина, содержащиеся в его письме, посланном вместе с письмом Чернышевского: «10 мая был Николин диспут. На него собралось довольно много знакомых, оппонентами были назначены Никитенко и Сухомлинов ⁹³, но Николая очень хорошо от них отделялся. Вообще диспут был очень оживленный, что случается у нас редко. Продолжался он часа полтора» (Цитир. редакторами Писем Чернышевского в прим. стр. 256) ⁹⁴.

учебное ведомство [?] конфисковало [!] ее, положив этим крест на официально-ученой карьере желавшего магистерской степени Чернышевского» *. Автор этой смеси смешной риторики и голой неправды не располагал, правда, теми источниками, — *Дневники и Письма*, — которые время теперь сделало общедоступными, но точно также не располагал он реальными и достоверными источниками и для тех заключений, которые он сделал. Открытие новых источников и более трезвое отношение к легендам, связанным с именем Чернышевского, уже рассеяло некоторые из вымыслов **, по крайней мере, со стороны внешних фактов, но действительное их значение и существо остаются еще в густом тумане. Здесь нужны внимание, терпение, осторожность.

Имея всё это в виду, можно сделать о диспуте короткое заключение: диспут Чернышевского был обычным диспутом этого рода, чистою формою, как назвал сам Чернышевский, с обычною публикою друзей и сочувствующих знакомых, с обычными формальными замечаниями оппонентов и с обычным поздравлением в конце ***. А. Н. Пыпин, разбиравшийся, конечно, в академических

* Мих. Лемке. Эпоха цензурных реформ. СПб. 1904, стр. 6.

** Ст. Е. А. Ляцкого [Евгеньева?] ⁹⁸, Чернышевский и его диссертация об искусстве, «Голос минувшего» 1916, 1; Сопоставление противоречивых сведений о диспуте, данных Шелгуновым, автором статьи в «Колоколе» ⁹⁹ и Пыпиным, см. у Чешихина-Ветринского, Н. Г. Чернышевский, Пгр., «Колос», 1923. стр. 118.

*** Шелгунов в своих воспоминаниях, «Из прошлого и настоящего», пишет: «После диспута, Плетнев (председествовавший) обратился к Чернышевскому с таким замечанием: „Кажется, я на лекциях читал вам совсем не это!“ — — — Плетнев ограничился своим замечанием, обычного поздравления не последовало, а диссертация была положена под сукно» (Н. В. Шелгунов, Воспоминания, Гос. Изд-ство, 1923, стр. 164). В «Первоначальном наброске» Шелгунов передает фразу Плетнева иначе: «Я, кажется, вам читал совсем иную теорию искусства» (ib., 29). Фраза, приписанная Шелгуновым Плетневу, страдает большою непонятностью. Означает она упрек или похвалу или просто бестактность со стороны отличавшегося в общем как раз тактичностью Плетнева? Плетнев теоретических курсов не читал вовсе, их читал именно Никитенко, по кафедре которого шла диссертация Чернышевского и который прежде всего отвечал за нее перед факультетом. Поэтому такая фраза в устах Плетнева была бы бестактностью по отношению к Никитенку. — О курсах Плетнева и Никитенка и об характере этих курсов см. В. В. Григорьев, стр. 89–90 и 236–240.

отношениях, характеризует этот диспут в подобных же выражениях, и, по-видимому, его описание наиболее соответствует действительности: «диссертация представлена была по кафедре А. В. Никитенка; диссертация была своего рода протестом против господствовавшей эстетической рутины и искала более простой, реальной, жизненной постановки вопроса о прекрасном в искусстве. Никитенко, которому предстояло рассмотреть и потом принять или отвергнуть диссертацию его университетского слушателя, где шла речь именно о немецких теориях эстетики, не был человек ученый, но он был человек умный. Надо думать, что сам он (понимавший эстетику по переводам и рассказам о теориях Гегеля *) не совсем разделял или даже совсем не разделял взглядов Чернышевского; но он совершенно понимал, что сложный и трудный теоретический вопрос может допустить самые различные точки зрения, что самая многосторонность и противоречивость суждений может только служить более глубокому дальнейшему решению, и в этом смысле (единственно правильном) он не имел против диссертации никаких возражений. Она была им принята (это было главное); затем, с формальной стороны, состоялся диспут, прошедший обычным образом, причем автор не оказывался побежденным, и дело казалось решенным» **.

Совокупность приведенных выше данных, таким образом, заранее опровергает предположение о недоброжелательном со стороны профессуры отношении к Чернышевскому, каковое отношение могло бы быть вызвано крайним радикализмом или даже революционностью взглядов, изложенных в его диссертации. Если ретроспективный обзор судеб русской эстетики приводил Писарева и его единомышленников, — что было подхвачено и врагами Чернышевского, — к Чернышевскому, как начальному моменту в «разрушении эстетики» ¹⁰⁰, то, напротив, современная история литературы, не отрицая генетической связи Писарева с Чернышевским, по-ви-

* Правильнее было бы характеризовать взгляды Никитенка в области эстетики, как взгляды эклектические, с преобладающим, однако, влиянием Шеллинга. Ниже нам придется коснуться этого вопроса.

** Цитирую по книге Чешихина-Ветринского, стр. 118. По-видимому, сам Никитенко подобным же образом оценивал этот диспут, — во всяком случае, он ничем не отметил в своем знаменитом *Дневнике* ни студента, ни магистранта Чернышевского, ни его диссертацию и диспут. Впервые имя Чернышевского в *Дневнике* Никитенка упоминается в июне 1858 г.

димому, более склоняется к оценке факультета, допустившего диссертацию к защите и удостоившего ее автора степени магистра. Можно принять, пожалуй, только, что Чернышевский, действительно, претендовал на «разрушение» господствовавшей тогда идеалистически-метафизической эстетики. Сторонники Чернышевского, естественно, считали, что Чернышевский свою задачу выполнил. Но так как Чернышевский никакой положительной системы на место прежней эстетики не мог дать, то и его продолжатели, настроенные еще более негативно, чем он сам, и остановились на одном общем отрицании и общем разрушении. Таким образом, надо признать, что Чернышевский был прав, когда в промедлениях и препятствиях, возникавших на его пути, он не хотел видеть чьей-либо злой воли, а видел досадное стечение обстоятельств и формальностей. Политический радикализм Чернышевского и его социалистические симпатии, о которых мы узнаем из Дневников его, и которые могли бы восстановить против него консервативных и лояльных его университетских учителей, были им неизвестны. Точно также ничего они не могли знать об его религиозных сомнениях и колебаниях, поскольку последние оставались достоянием лишь интимного Дневника и, может быть, столь же интимных бесед Чернышевского с очень близкими ему людьми *. Публичные же выступления Чернышевского, — вроде его обширной рецензии на *Путешествия* по святым землям тогдашнего министра народного просвещения А. С. Норова **, —

* По отношению к отцу Чернышевский, однако, соблюдает конвенциональные формы религиозности. Например, в письме 21 декабря 1854 г. он поздравляет отца «с праздником Рождества Христова» и пишет; «Мы с Олиньюкою будем молиться, чтобы он, Всемилосердный, сохранил Ваше здоровье и сердце без болезненности в этот наступающий год и вразумил нас быть для Вас утешением» (стр. 238) ¹⁰¹. Ср. аналогичное начало письма 4 июля 1855 г., стр. 260, 19 дек., стр. 263 ¹⁰².

** Отечественные Записки, 1855, № 1; Собр. соч., Т.1., стр. 57–80 ¹⁰³. Ср. также рецензию на перевод книги Мендельсона, *Федон или о бессмертии души*, Отечественные Записки, 1854, Соч. 1, 13 ¹⁰⁴. — по поводу рецензии на книгу Норова Чернышевский пишет отцу: «Там ему воскурятся фимиам, потому что иначе нельзя; впрочем, Норова можно хвалить без угрызений совести; с одной стороны, его сочинения действительно не лишены достоинства; с другой стороны — он добрый и благонамеренный человек, заслуживающий всякого уважения» (1 февр. 1855, Пис., стр. 244) ¹⁰⁵.

скорее свидетельствовали о полной благонадежности Чернышевского и достаточной религиозности с точки зрения официальных требований. И так как сама диссертация никаких поводов для заключений, неблагоприятных с точки зрения официальной, не давала, то Никитенко и был вправе сказать Чернышевскому, что «переделывать ее не понадобится» (Пис., 199) ¹⁰⁶.

Из всего этого явствует, что лишь с течением времени, когда политический облик Чернышевского определился и установился в общественном мнении, его предвосхищение или его задатки критика стала отыскивать и в Диссертации *. Это видно из многочисленных, как сочувственных, так и враждебных, статей, рецензий, заметок и мимоходом брошенных замечаний, которые все были вызваны *вторым* изданием Диссертации, вышедшим в 1865 г. без имени автора, но с двусмысленно составленным указанием: «издание второе А. Н. Пыпина». К этому времени, к эпохе расцвета «нигилизма» — середина и 2-ая половина 60-х, — и относится оживление и ожесточение споров между сторонниками утилитарного и «чистого» искусства **. Что касается издания 1855 г., то, сколько нам известно ***, «литература приветствовала», говоря словами Лемке, лишь в двух больших рецензиях, из которых одна, в «Современнике», принадлежала самому Чернышевскому ¹¹³, а другая, в «Отечественных записках» меньше всего может быть аттестована, как «напутственное благословение на широкую, великую, честную работу».

* Иванов, История русского просвещения. II, 534 ¹⁰⁷; «В „Современнике“ 1864 г. (февр.?) было объявлено: „Возрождение нашей литературы началось, как известно, с 1855 г.“» ¹⁰⁸ — В примечаниях: Страхов, Из истории литературного нигилизма, IX — расц (51–55) ¹⁰⁹, — верно, а потом началась борьба против.

** Нам кажется правильным заключение, которое делает Венгеров: «При таком настроении — — — „проза жизни“» ¹¹⁰. Ср. его же замечание: «Но покамест — — — очерки...» 63 и 65 (Указанные Письма Фета печатались в «Современнике» с 56 по 57 гг. — Фет. Воспоминания, 1, 142) ¹¹¹.

*** См. Библиографический указатель в приложении к книге М. Антонова [М. И. Булгакова], Н. Г. Чернышевский, М. 1910 ¹¹². Здесь указывается еще «Книжник», 1855, № 6, но и сам составитель Указателя не видел этой статьи или заметки.

Эта рецензия написана в тоне снисходительно-ироническом * и, во всяком случае, она меньше всего склонна видеть в диссертации Чернышевского что-либо революционно-новое или разрушительное. Перечислив 17 тезисов диссертации, рецензент заключает: «Как ни перебирайте семнадцать истин, доказанных г. Чернышевским, но, после долгого рассмотрения, вы должны будете согласиться, что все они хороши, т.е. с каждой из них можно или согласиться, или много сказать против каждой». Далее автор останавливается на некоторых противоречиях, получающихся из сопоставления отдельных утверждений *Диссертации* или из выводов, к которым обязывают эти противоречия. Так, разбирая основное определение: «прекрасное есть жизнь», автор рецензии спрашивает, чем же тогда будет эстетика? Наукою о жизни? «Но это определение, — говорит он, — годится и для физиологии, и для философии, и для истории, и вообще для всех наук». Однако, ловит рецензент Чернышевского, вы не ограничиваетесь этим определением, и прибавляете: «прекрасным существом кажется человеку то существо, в котором он видит жизнь, как он ее понимает». Рецензент справедливо отмечает, что «это уже совершенно не то». Мало этого, Чернышевский дает и третье определение: «прекрасный предмет тот, который напоминает о жизни». Но мало ли, что нам *напоминает* о жизни? Мумия напоминает о жизни, отрытый череп, кирпич на развалинах Ниневии, — неужели всё это прекрасно? «Мы всё это говорим к тому, — заключает рецензент, — что определение г. Чернышевского может возбудить еще больше возражений, нежели старинное определение прекрасного, которому наш автор положил так много камней преткновения». Эта мысль о том, что

* «Отечественные записки», 1855, июнь, Библиографическая хроника, стр. 79–87. Чернышевский писал отцу по поводу этой рецензии: «Разбор в „Отечественных Записках“ писан одним из людей в насмешливом роде, и некоторые места довольно удачны, так что позабавили меня на мой собственный счет — действительно, я осмеел столько книг и книжек, что было бы несправедливо, если б и моя не была осмеяна. — — — Долг платежом красен и я за это не в претензии» (Пис., 258) ¹¹⁴. Чернышевский осмеивал чужие книжки, конечно, по заслугам, считал ли он по своей скромности, что и здесь долг платежом красен, остается неизвестным, но, по видимому, эти замечания были им сделаны, чтобы смягчить возможное впечатление от этого отзыва на отца.

прежние эстетические понятия, невзирая на всё их несовершенство, более завершены и менее содержат в себе противоречий, чем определения Чернышевского, и есть основной мотив рецензии. Этот мотив сопровождается насмешливым аккомпанементом на тему о «диалектическом процессе». Чернышевский утверждал, что его воззрения на искусство проистекают из воззрений новейших немецких эстетиков и возникают из них «чрез диалектический процесс, направление которого определяется общими идеями современной науки». По этому поводу рецензент и замечает: «Заметим кстати, что подобного „направления“ мы не видим в брошюре г. Чернышевского; диалектический же процесс замечен на каждом шагу».

Так, разобрав определение прекрасного, рецензент спрашивает: «А в сущности, что нового в мысли, что прекрасное есть жизнь? Не говорим ли мы на каждом шагу, что литература народа должна быть выражением его жизни? что роман, например, выражает эту жизнь полнее, повесть — не так полно?.. На этом слове мы все и беспрестанно вертимся». Другое дело, когда это слово ставится во главу системы, — тогда его определение должно быть полно, несбивчиво и ясно, а выводы должны быть последовательны и должны удовлетворять современную науку. Определение оказывается недостаточным, а выводы — и того хуже. Рецензент, в качестве такого вывода, приводит рассуждение Чернышевского о том, что целью и значением художественных произведений является возможность познакомиться с прекрасным в действительности тем людям, которые не могут им наслаждаться непосредственно. По этому поводу он пишет: «В какой неподдельный и справедливый ужас должен прийти каждый, в ком есть капля эстетического чувства, от этого первого вывода из теории г. Чернышевского! Убийственная теория! Как? гравюра и картина, портрет и живое лицо, действительность и суррогат ее — искусство (как картофель в Ирландии служит суррогатом хлебу)... вот всё, что мы выносим из этой теории, которая всю нашу жизнь называет *прекрасною*?.. Справедливо сказал автор в другом месте, что его эстетические воззрения возникают из новейших немецких эстетик чрез диалектический процесс... Что в брошюре г. Чернышевского виден *диалектический процесс* — это не подлежит ни малейшему сомнению; но настолько же не подлежит сомнению, что этот диалектический процесс совершенно ложен... Нет, лучше оставить

прежнее определение эстетики и говорить, что предмет ее — прекрасное, чем идти по следам брошюры!» И далее: «Много зла в теориях эстетик происходит от того, что авторы слишком отвлеченно говорят о предметах почти осязаемых. Есть в науке множество слов, которые губят здравый смысл; особенно, если пуститься в диалектику и, при проверке своих выводов, не опираться на вкус, эстетическое чутье, эстетический такт. — — — Ничего нет легче, как пускаться в диалектические тонкости человеку, одаренному умом гибким и имеющим перед собою множество слов темных, сбивчивых, неопределенных; несомненно, что выводы будут один другого оригинальнее; но собственно наука об искусстве от этого ничего не выиграет». И, наконец, в заключение: «Нет, лучше будем уж повторять избитую фразу, что предмет эстетики — прекрасное... Это объяснение, как ни одно-сторонне оно, имеет, по крайней мере, то преимущество, что указывает на форму, как на главное условие эстетических произведений... Старая теория не называла поэзии суррогатом действительности, и, вероятно, по той же причине не считала портрета картиной, не говорила, что поэт пишет для того, чтоб познакомить нас с чем-то до сих пор невиданным и неслыханным... Напротив, она считала тех поэтов истинными, которые, умели выражать *наши* душевные мысли и чувства, нам известные, только еще не облеченные в форму. — — — Она не любила скучных умствований вместо живых лиц и рассказов, и популярного изложения науки не считала поэзией. Нет, добрая старая теория прекрасного или изящного, как ни смешна она бывала подчас своею приторностью и постоянным восторгом перед поэтом, вдохновением, прекрасным, изящным, идеалом и мечтою — все-таки хотела чего-то больше элементарного Handbuch-a ¹¹⁵. Если в той теории поэт походил на существо фантастическое, зато по вашей теории он смахивает намышленного заводчика или фабриканта, который знает, какой товар кому нужен, и этот товар приготавливает. — — — Эстетика, как наука обо всех искусствах, совсем не такая поверхностная наука, какою кажется с первого взгляда. Справедливы в брошюре г. Чернышевского некоторые места о немецких эстетиках, которые (эстетики) доказывают обыкновенно, что всё изображенное искусством лучше, прекраснее тех же предметов в действительности, т.е. в жизни общественной и в природе. — — — Но так как эти отдельные мысли и справедливые замечания г. Чернышевского

имеют назначение служить ложным выводам, то они вполне и не развиты».

Из этой рецензии видно, что и в литературе диссертация Чернышевского не была отмечена, как нечто радикальное, открывающее новую эру в науке. Автор рецензии сам не удовлетворен господствовавшими взглядами, заимствованными из немецкой идеалистической эстетики, но только он еще более не удовлетворен неопределенностью, сбивчивостью и непродуманностью того, что предлагала Диссертация. То, что позже было принято за крайний радикализм и выставлено как программа нового направления критики, если не науки, должно быть истолковано из последующих условий русской литературы. Критика современная первому появлению Диссертации могла отнестись к ней с тем же спокойствием, связанным, однако, с внутренним неудовлетворением, с каким отнеслись к ней и научные академические ее судьи. Диссертация вызвала неудовлетворенность отсутствием ясных, определенных и последовательных положительных начал на место уже заподозренных и распатанных метафизических теорий. Но она не вызывала возмущения, негодования или протеста. Для рецензии имелось основание спрашивать: «что нового в мысли, что прекрасное есть жизнь?» Характерно в этом отношении самое начало рецензии: «Читатель, которого интересуют критические статьи наших журналов, так часто слышит слова: „поэзия и действительность“, „искусство и действительность“, „художественность и действительность“, „роман и жизнь“, „повесть и ее отношение к жизни“, „воспроизведение жизни и действительности“ и тысячу подобных фраз, может быть, с ужасом прочтет новые „Эстетические отношения искусства к действительности“ — заглавие книги г. Чернышевского». Для нашей конечной задачи в этой работе: отыскать источники диссертации Чернышевского, это указание очень важно, и мы им воспользуемся. Здесь, в этом месте важно отметить только общий тон отношения рецензента к Диссертации; ничего экстраординарного, сокрушающего, революционного рецензент в ней не заметил. И в этом он сошелся с оценкою, которую Диссертация встретила со стороны университета. Рецензия написана так, как мог бы возражать Чернышевскому на диспуте официальный оппонент, и оппонент мог бы говорить то, что говорит рецензент.

При таком отношении университета и критики вполне понятна та спокойная уверенность, с которою Чернышевский, не-

посредственно после диспута, заявляет отцу о своем намерении продолжить академическую карьеру: «Теперь я буду готовить мало помалу, сколько позволяет время, которого у меня очень немного, диссертацию на доктора — о чем, однако, не намерен распускать здесь слухов, пока она будет» (Пис. 256)¹¹⁶. С другой стороны, понятно и то равнодушие, даже столь мало свойственное Чернышевскому добродушие, с которыми он отнесся к рецензии в «От. Зап.»: «Долг платежом красен и я за это не в претензии» (см. выше прим.). Проходит, однако, всего три недели со дня написания этой фразы, и Чернышевский чем-то обижен, задет, и с более уже ему присущим высокомерным раздражением он пишет отцу: «У нас еще мало людей, знакомых с нынешним положением наук; — — — Потому никто не понимает, если заговорить так, как говорят истинные немецкие или английские [? N.B.] ученые. В некоторых [?] * разборах моей книжки (читанных мною, впрочем, очень бегло, потому что они не стоят внимания) это обнаружилось самым забавным образом: самые простые и несомненные мысли кажутся разбирающему странными, каждый приписывает их исключительно мне, тогда как они столько же изобретены мною, как мысль, что поутру всходит, а вечером заходит солнце» (28 июня 1855 г., Пис., 260)¹¹⁸.

Дальше обстоятельства складываются так, что Чернышевский целиком посвящает себя журналистике и о научной карьере как будто вовсе забывает. За это время определяется его публицистический и политический облик, общий уклон его интересов, возможностей, способностей, и, наконец, самый характер Чернышевского, как лица публично видного и играющего общественную роль, становится предметом новых суждений и оценок. Чернышевский стал на ноги, и прежнее покровительство симпатизирующее отношение учителей было бы просто неуместно. Чернышевский всё более рассматривается, как человек партии, и, естественно, к нему прилагаются партийные оценки. За общим литературным и политическим обликом самого видного журналиста эпохи, вдохновителя и идейного руководителя журнала, представлявшего строго определенное общественное направление, Диссертация и академические намерения ее автора

* Остается допустить (см. выше прим.), что какие-то статьи о Диссертации остались библиографам неизвестны¹¹⁷, — иначе нельзя понять, что Чернышевский имеет здесь в виду.

просто исчезают и забываются. Поэтому, когда через три года после защиты Диссертации Чернышевский, уже не по собственной инициативе, а в ответ на запросы отца, опять упоминает об университетской деятельности, в его словах слышен новый тон и новое отношение к этому вопросу: «В Университет я пошел бы, если не с радостью, то и без особенных потерь для меня (да и то еще не знаю); но если в университете такие люди, как Кавелин и Березин, мои друзья, то с другой стороны у меня там много врагов между дрянными профессорами, и из этого всего не может выйти ничего» (11 ноября 1858 г., Пис. 279) ¹¹⁹.

Когда Чернышевский писал эти строки, он не знал, что за две недели до этого он был утвержден министерством в степени магистра *. Он узнал об этом только через два месяца после своего письма, и теперь его отношение к возможности университетской карьеры решительнее, ультимативнее. «Вчера, — сообщает Чернышевский отцу, — узнал я неожиданную новость о деле, про которое забыл думать, но которое, вероятно, интереснее для Вас. Вот уже почти четыре года, как я держал экзамен на магистра. По окончании всех формальностей, решение университетского совета было, как обыкновенно, представлено на утверждение министру народного просвещения. Министром в то время был Норов, который не мог слышать моего имени, — почему? бог его знает, я никогда его в глаза не видел, но были у меня доброприятели, которые потрудились над этим. Отвергнуть представление университета он не решился, потому что это было бы нарушением обычных правил, но положил бумаги под сукно. Университетские очень обиделись и года два приставали ко мне, чтобы я подал в университет вопрос о моем магистрстве, — тогда университет имел бы формальное основание вести мое дело. Я отвечал, что мне в этом нет надобности, что если они обижены, то могут поступать, как угодно, а что я даже рад этому случаю несогласия министра. Действительно, я был рад, потому что, слава богу, имею некоторую репутацию, не нуждающуюся в министерских утверждениях, а это дело придало ей больше эффекта. Наконец, сменился Норов. Университетские опять приставали ко мне, чтобы я дал им нужную бу-

* Ляцкий, «Голос Минувшего», 1916, 1, 34 (ошибочные заключения Ляцкого исправляются по письму Чернышевского от 13 янв. 1859 г. ¹²⁰).

магу. Я опять сказал, что не имею в том надобности. Наконец, вчера, не знаю как, получается утверждение министра. Я улыбнулся. Теперь опять возобновятся предложения занять кафедру в университете. Прежде я не мог принять их, потому что с этим была связана необходимость просить университет об окончании магистерского дела. Теперь посмотрю, какую кафедру будут предлагать и на каких условиях. Тут есть еще формальности, на которые я не соглашусь: докторский экзамен, пробная лекция. Я не мальчик, чтобы держать экзамены и читать пробные лекции. Если найдут возможным отбросить эти формы, которым теперь неприлично (по моему мнению) подчиняться, я соглашусь, а если нет, не соглашусь, потому что надобности в месте не имею» (13 янв. 1859 г., Пис. 281) ¹²¹.

Несвоевременное утверждение Чернышевского магистром Пыпин не без основания назвал «темной историей». Высказанные по этому поводу предположения не имеют за собою объективных документальных данных. Одно из этих предположений вводит в игру Никитенка. Ляцкий * опровергает это предположение ссылкой на характер Никитенка: «Тогда же говорили, что после защиты диссертации отношения между Никитенкой и Чернышевским испортились, и до известной степени это было так. Но по характеру своему Никитенко был прямой и честный человек, и нет никакого основания предполагать, чтобы он стал мстить своему ученику за неприятности, испытанные им отчасти по собственной вине». Эти суждения Ляцкого отличаются особенностями, которыми вообще богата его цитируемая статья: утверждениями, источники и основания которых автором не указываются и сами по себе не видны. Остается неизвестным, откуда автор почерпнул свое сведение о том, что отношения между Никитенком и Чернышевским «до известной степени» испортились, как, равным образом, неизвестно, о каких «неприятностях», испытанных Никитенком, идет речь. Зато апелляция к прямоте и честности Никитенка кажется убедительною. Но и независимо от характера Никитенка можно думать, что он не «мстил» хотя бы потому, что мстить ему было не за что. Но возникает иной вопрос: почему Никитенко, который, как можно убедиться из его Дневника, был в то время в

* Чернышевский и его диссертация об искусстве. «Голос Минувшего», 1916, № 1, стр. 32.

наилучших отношениях с министром Норовым, постоянно с ним виделся в самой разнообразной обстановке, и, следовательно, имел десятки поводов настоять на утверждении Чернышевского в магистерской степени, тем не менее этого не добился? Можно допустить, что он даже и не добивался этого, ибо трудно предположить, чтобы Никитенко, если бы он сколько-нибудь был заинтересован в деле Чернышевского и предпринял бы по этому делу какие-либо, удачные или неудачные, шаги, не отметил этого в своем до мелочей, до мелочности подробном *Дневнике*. Создается впечатление, что Никитенко остается невозмутимо равнодушным к академической карьере Чернышевского, что он не может быть отнесен к тем «университетским», которые, по словам Чернышевского, «приставали» к нему, чтобы он подал вопрос о своем магистерстве. Для уяснения отношения Никитенка к Чернышевскому всё это может быть не лишено значения, но то, что Пыпин называет здесь «темною историей», конечно, нимало не проясняется. А если, действительно, предположить, что источником этой «истории» является радикальная новизна и «неблагонадежность» воззрений Чернышевского, испортившие отношение к нему Чернышевского¹²², то вся «история» из темной превращается просто в загадочную. Если уже к середине 1855 г. Чернышевский, автор *Словаря к Ипатьевской летописи*, напечатанной в органе Академии наук, и нескольких десятков библиографических заметок и рецензий, среди которых видное место занимала рецензия на *Путешествия А. С. Норова*, успел прослыть «вольнодумцем» для министерства¹²³, то, что же должно было думать и сказать это последнее в самом конце 1858 г., когда социально-политическая физиономия Чернышевского была уже всем ясна, когда, по словам Ляцкого, «перед ним была уже такая аудитория, которой не мог бы вместить в своих стенах ни один университет» (о.с. 34), когда, следовательно, влияния на университетскую молодежь министерство должно было опасаться больше, чем приданию даже «эффекта», как констатирует сам Чернышевский, той «репутации», которую он приобрел и которою дорожил более, чем академической ученой деятельностью? Скорее, именно к моменту утверждения Чернышевского в ученой степени можно было ожидать, что не только министерство, но и университет вынесут неблагоприятную для него оценку его взглядов и деятельности. Когда Чернышевский писал отцу, что

«теперь опять возобновятся предложения занять кафедру», он, конечно, имел в виду не официальные предложения, которых и раньше не было, а, верней всего, частные беседы с некоторыми, расположенными к нему университетскими профессорами. Понятны, поэтому, соображения, в силу которых Чернышевский наперед уже выдвигает перед отцом свой ультиматум, хотя мотивы его предполагаемого отказа от кафедры и кажутся странными: что, в самом деле, зазорного или «мальчишеского» в докторском экзамене и пробной лекции для журналиста, хотя бы ему и было, как Чернышевскому, тридцать лет?

Более реальное значение, поэтому, имеет соображение, высказанное Чернышевским, когда он еще не знал о своем утверждении в степени, и писал отцу, что «из этого всего не может выйти ничего», потому что у него «много врагов между дрянными профессорами». Из «друзей» Чернышевский называет два имени: Кавелина (в петербургском университете с мая <18>57 г.)¹²⁴ и Березина (профессор по кафедре Турецко-Татарского языка)¹²⁵. Относил ли он теперь Срезневского и Никитенку в эту же группу или причислял их к «дрянным» профессорам, нам неизвестно. Но мы располагаем данными, на основании которых можно судить, как представляли себе духовный облик Чернышевского его бывший учитель и его теперешний университетский друг. Мнения их были высказаны несколько позже, но, можно думать, что сложились эти мнения уже к обсуждаемому нами времени. «Друг» Кавелин, вскоре после ареста Чернышевского, писал Герцену: «Известия из России с моей точки зрения не так плохи... Аресты меня не удивляют и, признаюсь тебе, не кажутся возмутительными... Чернышевского я очень, очень люблю, но такого брьюлона, бестактного и самонадеянного человека я никогда еще не видел» *. Никитенко, с своей стороны, за два года до этого заносит в *Дневник*: «У Чернышевского есть ум, дарование, но, к сожалению, то и другое затемнено у него крайней нетерпимостью. Он, на беду себе, считает себя первым умником и публицистом в Европе» **.

* Стеклов, 398 — из Русанова, Социалисты запада и востока, стр. 276¹²⁶.

** 4 марта 1860 г.; впервые имя Чернышевского без всякой характеристики упоминается в Дневнике Никитенка 7 июня 1858 г.

Не касаясь вопроса о том, насколько эти характеристики личного характера Чернышевского всесторонни * и насколько выбранные их авторами выражения удачны, нельзя не признать, что в основном в них есть какая-то правда, в них, во всяком случае, отражается какая-то сторона впечатления, которое мог вызвать Чернышевский одинаково и у лица, находившегося с ним в официальных отношениях, и у человека, который его «очень любит» и которого он сам воспринимал, как своего друга. Если Чернышевский, действительно, производил указанное здесь впечатление, и если оно, хотя бы односторонне, но отражало действительные черты его характера, то уже нельзя согласиться с мнением самого Чернышевского, что на пути его университетской карьеры стояли только случайные обстоятельства и формальные препятствия (выше), Вдумываясь в чисто внешнюю даже историю магистерских экзаменов и диссертации Чернышевского, мы должны согласиться с тем, что активного и намеренного противодействия своим замыслам Чернышевский, действительно, не встречал. Но равным образом надо признать, что он не видел со стороны своих учителей и активной поддержки. В лучшем случае он встречал пассивную симпатию и равнодушное, «доброе», как он сам выражался, отношение. Поучительно с этой точки зрения сравнить легкую и быструю научную карьеру двоюродного брата Чернышевского и близкого по духу ему человека А. Н. Пыпина, как она может быть прослежена по письмам самого же Чернышевского. Пыпин (род. в 1833 г., Чернышевский — в 1828), окончил университет в 1853 г., был оставлен при университете с магистерской стипендией, будучи студентом составил для Срезневского и напечатал *Словарь для Новгородской летописи* (1852) **, и, начиная с года окончания университета печатает одно за другим самостоятельные научные исследования, привлекая сразу к себе внимание ученого мира и давшие основание Чернышевскому к двадцатидвухле-

* Лемке, редактор Дневника Никитенка, делает к цитированному суждению Никитенка примечание: «Все, что касается группы нового „Современника“, автор „Дневника“ оценивает очень и очень односторонне и несправедливо, хотя и вполне чистосердечно», Т. 1, стр. 584.

** Чернышевский начал (так же как и Пыпин на 2 курсе) в 48, напечатал только в 54? ¹²⁷.

тию Пыпина именовать его «известным русским ученым»^{128 *}. Пыпин сразу определяет свой научный интерес и не изменяет ему, именно с «формальностями» он не торопится, а прежде всего завоевывает себе серьезное научное имя строго научными углубленными занятиями и исследованиями. Его честолюбие — в его учености. По всему складу своему Чернышевский ученым, академическим ученым не был. Его интересует результат больше, чем процесс и метод. А в результате ему важнее всего непосредственное практическое приложение его к решению жизненного вопроса, его занимающего. Его увлекает «репутация», которую доставил ему «Современник», репутация «учителя» поколения и властителя дум, а не репутация скромного изыскателя в области научной истины. Будучи студентом, он только исполняет свои обязанности, а дома и вне этого читает преимущественно журналы, иностранные газеты и книги подбора и состава случайного и чрезвычайно пестрого. Он сильно преувеличивает свою образованность, принимая широту своих интересов за полноту знания. Его устремления экстенсивны, но не интенсивны. Углубленность специалиста ему органически чужда и просто неприятна, как психологическая черта. Его высокомерные суждения о том, что никто не знает предмета, за который он взялся, его убеждение в том, что «записные ученые знают только книги, вышедшие назад тому двадцать лет; новые дойдут до них разве еще через двадцать лет» (Пис. 260)¹²⁹, проистекали из его большой впечатлительности именно к новому, особенно если оно обещало практическое приложение, и закрывали ему глаза на смысл методически кропотливой работы, не решающейся провозгласить истинною «новое» только потому, что оно — новое и обещает исцеление сегодняшней нужды. Едва ли Чернышевский был скептиком по натуре, но он поддается внушению прежде всего отрицания. Выросший с течением времени у него догматизм утверждений был воспитан его природным догматическим и категорическим отрицанием. В его юности нет длительных и прочных положительных увлечений. Его «да» всегда колебательно, нетвердо, его «нет» — упрямо и бесповоротно. От

* См. Письма Чернышевского, стр. 185, 187, 190, 193, 194, 198, 218, 228, 237, 243, 246, 250, 291, 292 и др. — Магистерский диспут Пыпина Никитенко отмечает в своем Дневнике, (24 марта 1857 г., Т. 1, 495).

этого ему так трудно определить свой путь и свой предмет, свою цель. Он много «мечтает», но дисциплинировать свое мечтание он не умеет. И пред мечтательным видением всё положительное для него меркнет, представляется ему или не заслуживающим внимания или подлежащим осуждению и отрицанию. В итоге его влечет к себе не сама систематическая работа, а только мысль о ней, потому что главный интерес его — в конце, в результате, который хотелось бы ухватить сразу, по одному намеку, по журнальной или газетной статье.

Всё это можно было бы слово за словом подтвердить цитатами из Дневников и Писем Чернышевского. Много вытекает из тех заявлений Чернышевского, которые нами цитировались уже. В дополнение к этому ограничусь несколькими справками, приводя без всякого комментария и не претендуя на то, чтобы их подбором внушить всестороннюю и исчерпывающую характеристику молодого Чернышевского. (Курсив в цитатах — мой).

«Обзор моих понятий — Богословие и христианство. *Ничего не могу сказать положительно, кажется, в сущности, держусь старого, более по силе привычки, но как-то мало оно клеится с моими другими понятиями и взглядами и поэтому должно быть и вспоминается мало, и чрезвычайно мало действует на жизнь и ум. Занимает мысль, что должно всем этим заняться хорошенько. Тревоги нет*». (2 авг. 1848 г., Дн. 224–5) ¹³⁰. «...вчера читал до 2 ½ „Отеч. Записки“, ничего хорошего не нашел и решил, что В. П. [Лободовский] критику написал бы не хуже, если не лучше. *Так мы почти вырастаем!..* Из этого источника раньше я воспитывался, а *теперь смотрю на этих людей, как на равных себе*. Это первая критика „Отеч. Записок“, которая пробудила такие мысли, что *В. П. или я сами не хуже их*» (13 авг. [18]48 г., Дн. 242) ¹³¹. «Утром читал Венецианского купца Шекспира — *ничего особенного не вижу*» (18 сент. [18]48 г., Дн. 267) ¹³². — «Если писать откровенно о том, что *я думаю о себе*, не знаю, ведь это странно — мне кажется, *что мне суждено*, может быть, быть одним из тех, которым суждено внести славянский элемент в умственный, поэтому и *нравственный и практический мир*, или просто двинуть вперед человечество по дороге совершенно новой. Лермонтов и Гоголь, — — — доказывают для меня, у которого утвердилось мнение, заимствованное из „Отеч. Записок“ (я читал его в статьях о Державине [Белинского]), что только жизнь народа, степень его развития опреде-

ляет значение поэта для человечества, — — —; *я думаю, что нахожу в себе некоторые новые начала*, которые нахожу ясно и развито и сознательно высказанными в *теперешней науке* и теперешнем взгляде на мир и которые теперь, конечно, весьма неясны или не то, что не ясны, а главное, — которые еще не получили твердости, общеприменимости, *которые в своих приложениях еще не тверды, а часто управляются минутною прочитанною мыслью и новым узванным фактом*. Должен сказать, что такое мнение о себе утвердилось во мне с того времени, как я почел себя *изобретателем машины для произведения вечного непрерывного движения*, и только несколько переменялось в объеме (тогда я считал себя одним из великих орудий бога для сотворения блага человечеству, а теперь нужды нет, *я не заспорю, хотя был бы равен Гизо или Гегелю или чему-нибудь подобному*) и в предмете. Да, о машине — я не могу сказать, чтобы я убедился, что это невозможно; мне, напротив, кажется противное, но только недостает средств начать исследования на деле, то я сижу и молчу, и поэтому мои мысли затеснены вглубь души; — — —. Итак, я должен сказать что я *довольно твердо считаю себя человеком не совершенно дюжинным*, а в душе которого есть семена, которые если разовьются, то могут несколько *двинуть вперед человечестве в деле воззрения на жизнь*, и если я хочу думать о себе честно, то, конечно, я не придаю себе, бог знает, какого величия, но просто *считаю себя одним из таких людей, как, например, Гримм, Гизо и проч., или Гумбольдты*, но если спросить мое самолюбие, то я могу отвечать себе — я бог знает что: *может быть, из меня выйдет что-нибудь вроде Гегеля или Платона, или Коперника*, одним словом, человек, который придает решительно новое направление, которое никогда не погибнет, который один открывает столько, что нужны сотни талантов или гениев, чтобы идеи, высказанные этим великим человеком, переложить на всё, к чему могут быть они приложены, в котором высказывается цивилизация нескольких предшествующих веков, как огромная посылка, из которой он извлекает умозаключения, который задаст работы целым векам, составит начала нового направления человечества. Однако, должно сказать, что меня эти мысли теперь мало волнуют, — — — моя жизнь течет в болоте, и даже мелкие планы и надежды, например, сблизиться с Никитенкою, или попасть в журнал, или написать словарь к летописям —

более меня занимают и по времени, и по интенсивности. Но если я спрошу свои сомнения, которым, я не знаю, более или менее верю, чем своим надеждам, то я предполагаю, что всё это вздор, что *ведь так думают о себе все почти люди; но, мне кажется, что те думают об этом так, что самые эти думы ручаются за пустоту их, т.е. думают глупым образом, а что, напротив, я думаю об этом не как (тупая) голова, а как фантазер, которого фантазии доказывают его ум*» (23 сент. <18>48 г., Дн. 282–3) ¹³³. — «Так-то я еще молод и слаб умственной силою. А Луи Блан почти в мое время уже выступил главою партии и стал одним из первых людей; Гете тоже — это *для меня неприятно*» (2 окт. <18>48 г., Дн. 293) ¹³⁴. — «У Вольфа газеты читал мало, более читал „Отеч. Записки“, которые мне подал мальчик, что меня утетило: значит, знают уже» (4 окт., Дн. 293) ¹³⁵. — «И у меня родились две противоположные мысли о себе: что я поверхностная мечтательная голова, которая слепо, наобум, с бухту барахту, вдруг болтнет и вздумает быть убеждена в том, что, чорт знает отчего, взойдет в мысли решительно случайным образом, что так скоро сам вижу свои ошибки — и это скорее, может быть — или у меня так много не то что проницательности и не то что глубокомыслия и способности что ли выводить следствия из начал и прилагать начала к фактам и осматривать их со всех сторон, что необходимо тотчас мне представляются противоречия действительности с известным мне началом, или этого начала с другим? Это, кажется, я высказал что-то не так, как думаю, но одним словом, открываю ли я противоречия в своих мыслях и так скоро начинаю сомневаться в них оттого, что мысли и в самом деле пусты и слишком незначительны, или потому, что голова слишком крепка, и трудно выдержать напор этой головы и ее критику» (23 окт., Дн. 306–7) ¹³⁶. — «Ныне утром читал снова Купера, хотя вздор решительно относительно пользы и анализа души человеческой — — —, а между тем я так еще не развит, что легче читается этот вздор, чем Гизо и Мишле» (ib.) ¹³⁷. — «Должно ли сказать, что я думаю довольно часто, хоть на один миг, об этих записках и жалею отчасти, что пишу их так, что другой не может прочитать. *Если умру, не перечитавши хорошенько и не переписавши хорошенько на общечитаемый язык, то ведь это пропадет для биографов, которых я жду, потому что в сущности думаю, что буду замечательный человек*» (10 дек.,

Дн. 342)¹³⁸. — «...буду бывать в кондитерских, читать газеты; наконец, может быть буду *что-нибудь* писать, только едва ли, потому что для чего писать! В „Отеч. Записки“ или „Современник“ не попадешь, а *иначе не стоит*, да как-то потерпевши два раза неудачу в «Отеч. Записках», не думаю об успехе третьего раза о том же» (17 дек., Дн. 349)¹³⁹ — «...*практичность ума или еще незрелость*, то, что не могу еще свободно жить в этих общих областях решительно неприложенного, абсолютного, и *нужны приложения* * (при чтении Гегеля, — 27 янв. <18>49 г., Дн. 379)¹⁴⁰. — «...ведь почти так же занимает меня мало regretum mobile, моя машина, которая должна перевернуть свет и поставить меня самого величайшим из благодетелей человека в материальном отношении, о котором теперь более всего нужно человеку заботиться. — — — Я сострою мост, и человечеству останется только *итти в поле нравственности и познания*». (7 марта <18>49 г., Дн., 400)¹⁴¹. — «Мысли: машина; переверот. Что касается собственно до меня — более всего, несравненно более всего, женитьба, любовь, — — — Надежда на Нестора, т.е. словарь к нему — следовало бы, чтобы его напечатала Академия. — — — Итак, на дежды и желание: а) — — — поеду на следующий год в Саратов; б) *через несколько лет я журналист и предводитель или одно из главных лиц крайней левой стороны, нечто вроде Луи Блана*, и женат, и люблю жену, как душу свою; в) надежды вообще: уничтожение пролетариата и вообще всякой материальной нужды — все будут жить во всяком случае как теперь живут люди, получающие в год 15–20 000 р. дохода, *и это будет осуществлено через мои машины*: Аминь, Аминь» (11 июля <18>49 г., Дн. 441–2)¹⁴². — «И когда лежал, думал о своем словаре, как он гадко и как долго делается — и вздумал бросить его; если Срезневский не спросит, до окончания курса не скажу ничего, если спросит, — скажу, что чувствую, что это труднее, чем я думал. — — — Однако, я надеюсь, что Срезневский спросит; я скажу, что бросил — почему? — *не могу теперь порядочно сделать — а все-таки, спросит он, что-нибудь сделано? Начал, скажу. Покажите, скажет. Покажу — он расхвалит и скажет, что это гораздо лучше, чем можно было предполагать и ожидать не от меня только, а и от настоящего ученого, и не потребует более, а представит одну эту тетрадь, которая готова, так я избавлюсь от работы и все-таки всё равно достигну своей цели, если можно ее достичь окончанием*

работы, и, кроме того, приобрету репутацию скромника. Конечно, едва ли этот расчет удастся, вероятно, нет, но я *стал мало думать о словаре, потому что, как вижу, слишком много работы потребует*, итак, пусть лучше пропадает то, что до сих пор сделано» (11 янва <18>50 г., Дн. 490) ¹⁴³.

Чернышевский поступил в университет, несомненно, с уже сложившимся характером, по крайней мере, в основных его чертах. Уже самый факт поступления провинциального семинариста в университет указывает некоторые тенденции и потенции этого характера. Неопределенные первоначально влечения и намерения должны были становиться для Чернышевского тем яснее, чем ближе подходил он к моменту актуализации привлечших его к университетской науке задатков. Вдумываясь в отношение Чернышевского к своим университетским занятиям, в его мысли о своих собственных способностях и о своем призвании, нельзя не заметить, что университетская наука, как такая, его мало влекла к себе и далеко не удовлетворяла полностью его запросов, идеалов, интересов. Он заканчивал свой университетский курс, оставаясь внутренне, может быть, более чуждым университетской науке, чем он был тогда, когда начинал этот курс. С его способностями и его упорством Чернышевский, если бы он действительно того хотел, сделал бы формально-научную карьеру с легкостью и чистотой еще большими, чем то было у Пыпина. Но ни чисто научных влечений, ни просто духовного склада ученого не было у Чернышевского. Кончая университетский курс, Чернышевский вполне отдавал себе отчет в том, что для *его целей*, для его высоких мечтаний, вполне можно было обойтись и без университетской науки. Кое-как покончив с университетом *, Чернышевский не знает даже своей специальности. Опять-таки в силу чисто внешних побуждений он выполняет магистерскую работу, выполняет небрежно, и скорее увлеченный опять-таки внешними приемами, — быстротою написания, «без цитат», сразу «набело» и т. п., — а не действительно внутренней заинтересованностью к теме и научному выполнению ее. Всё — наспех и напоказ, всё — с целью произвести какое-то впечатление и будто бы что-то открыть, ко-

* Чернышевский окончил университет со степенью кандидата по Разряду Общей Словесности 11-м из 12-ти кандидатов и одного действительного студента. В. В. Григорьев, о. с., ХСІ.

го-то чему-то научить. Университетская наука ему не импонировала. Что-то другое витало перед его умственным взором, закрывая от него и действительные достоинства этой науки, и его собственное нерасположение к ней и нерадение в ней, и даже... чувства и тревоги любимого им отца... Только в полном ослеплении своей высокой, — но иной, не научной, — миссией, мог Чернышевский писать то, что он писал отцу: «У нас еще очень мало людей, знакомых с нынешним положением наук; все сведения людей, не принадлежащих к числу записных ученых, почерпаются обыкновенно из французских журналов, — — —; записные ученые знают только книги, вышедшие назад тому двадцать лет; новые дойдут до них разве еще через двадцать лет. — — —. Вообще нет ничего забавнее наших ученых и полученных людей. Их нужно бы переучивать с азбуки. Отчасти я делаю это, насколько то возможно, в разных статьях, и пресмешно видеть, как эти статьи приводят их в недоумение. Но вообще надобно сказать, что они люди, хотя и ограниченные, но добрые и готовы соглашаться с правдою, когда втолкуешь им ее — что, впрочем, делается не сразу» (Пис. 260) ¹⁴⁴. Так Чернышевский пишет, чтобы успокоить отца, и он не замечает, — с его прославленной биографами чуткостью и деликатностью, — что отцу могло быть только больно и стыдно — столько самомнения, самовлюбленности, с одной стороны, и столько недоверия к другим и просто неправды о них, с другой стороны. Так ослепленным может быть только человек какой-то навязчивой идеи, — и вследствие этого — неудачник или, наоборот, — пророк. У Чернышевского не было ни научных влечений, ни научного склада, ни научной скромности. Принимая сказанное во внимание, можно было бы с известным правом утверждать прямо противоположное тому, что говорил сам Чернышевский о своей научной карьере: само существо его противоречило и сопротивлялось ей, и если всё-таки что-то им предпринималось и осуществлялось, то в силу обстоятельств чисто внешних и формальных. Тут было желание отца, быть может, также невесты, а потом жены (см. Дн. 571) ¹⁴⁵, но не влечение самого Чернышевского. В лучшем случае ему представляется не «особенной потерей» должность университетская (Пис. 278–9) ¹⁴⁶, но отнюдь не университетская наука. Ибо его заветная мечта, цель и смысл его жизни — не исследование в какой-либо области знания, не открытие так называемых

научных истин, а преобразование всей человеческой жизни, благодетельствование человечества, где наука — только средство, скромное средство. Словесник по своей университетской подготовке, магистр словесности, Чернышевский более всего впоследствии увлекался могуществом естествознания. Но если бы кто-нибудь убедил Чернышевского, что именно естествознание стоит на пути того благодетельствования человека, которое так вдохновляло мечты и реальную деятельность Чернышевского, он точно так же отвернулся бы от естествознания, — даже не пожелал бы ознакомиться с ним, — как это всё он сделал с философией *. Отсюда и своеобразный полемический прием Чернышевского: он «наперед» знает, что скажут его рецензенты или критики, и «не читая» их возражений, он уже отвергает их (см. выше Пис. 260) ¹⁴⁹; он «вперед знает» всё, что прочтет в статье Юркевича ¹⁵⁰, — одного из самых образованных философски современников Чернышевского, — «все до последнего слова» (Т. VIII, 237) ¹⁵¹; он утверждает, что в его собственных семинарских «задачах» «написано то же самое, что должно быть написано в статье г. Юркевича» (ib.), хотя по философскому образованию разница между Чернышевским и Юркевичем была разницею именно семинариста и ученого; ему «довольно увидеть две строки» цитаты, чтобы лишиться охоты знакомиться с сочинением (IV, 179) ¹⁵². Все эти приемы — непонятны и недоступны психологии ученого, но так понятны с точки зрения той общественно-литературной позиции, которую занял, в конце концов, Чернышевский и которая влекла его и в его университетские годы. Значение и ценность писателя определяется не анализом его научных приемов и качества его исследования, а, прежде всего, его «направлени-

* Это вытекает не только из психологии Чернышевского вообще, как она изображается в тексте, но и в частности мы располагаем совершенно замечательным документом, своеобразно освещающим отношение Чернышевского к науке. Дело, конечно, не в чудовищности тех суждений, которые высказываются Чернышевским [Лобачевский прирожденный дурак, Гельмгольц, Бельтрами — идиоты и пр. и пр. ¹⁴⁷] — а в приемах, подходах к научным суждениям этого проповедника научности и «положительности». Сопост<авить>, с одной стороны, у Чернышевского «наука говорит», а с другой «мне не нужно этого знать, чтобы — — —» [Развить это по письмам к детям <18>78 — Пис. 478 ¹⁴⁸ и т.д.].

ем» (ib.), его «прогрессивностью» или отсталостью (ср. ib. 183, напр.)¹⁵³. С другой стороны, излюбленный прием Чернышевского — апелляция к науке, апелляция анонимная, но тем более авторитетная и внушающая, потому что во времена Чернышевского анонимность ссылки на «новейшую науку» была вместе с тем намеком на какую-то грозную силу, сдерживаемую только цензурною гильотиною. В конце концов, и сомнение в силе науки, если она исходила от источника не «прогрессивного», и вера в ее положительную силу, когда она была орудием прогресса, — одинаково свидетельствуют, что Чернышевский видел в науке только средство для целей, которые он считал единственно высокими. «Те передовые люди — определяет Чернышевский (VI, 268)¹⁵⁴, — деятельностью которых развивается наука, ведут ее и к тому, чтобы прониклась результатами ее жизнь всего народа. Люди отсталые, служащие только обременением для развития науки, не приносят никакой пользы и ее распространению в массе; они бесполезны во всех отношениях и во многих прямо вредны».

Нельзя даже сказать, что наука была для Чернышевского ближайшим или непосредственным средством, с помощью которого он рассчитывал осуществить свою конечную цель преобразования и благодетельствования человечества. В русской литературе за Чернышевским уже прочно укоренилось определение «просветителя». Нужно принять всё, что вытекает из этого понятия. Конечные цели для *просветителя* — далекая утопия морального, человеколюбивого обоснования, ближайшее средство — внушение этой утопии бездолейной, пребывающей во тьме непонимания собственных интересов человеческой массе, т.е. просвещение этой массы — просвещение рациональное, положительное, и в то же время воинствующее, отвергающее, аннигилирующее всё, что не рационально, не положительно. Наука признается только в пределах рациональности и положительности, или, что диалектически — то же, — в пределах нигилистичности. Отсюда — презрение к «чистой» науке, к углубленной специальности, к интенсивности знания, и почет — утилитарному знанию, образованности, энциклопедичности.

Честолюбивые мечтания студента Чернышевского, таким образом, нашли конкретное воплощение: не Аристотель, не Коперник, но и не Грим, и не Гизо¹⁵⁵, а нечто третье, — и больше

всех названных вместе, и меньше самого малого из них, — русский Вольтер ¹⁵⁶. Этим честолюбие Чернышевского было удовлетворено, здесь он мог, по праву, считать себя «первым», здесь он не боялся быть «бестактным», здесь он действовал до конца «самонадеянно», — здесь всякий упрек по его адресу превращается в его добродетель. Этот псевдоним «Вольтер» есть все-таки собственное имя, и если это имя не стало в буржуазном обществе нарицательным, то, по всей вероятности, потому, что именования «журналист» и «публицист» — менее выразительны и менее ответственны, а потому и более подходящи для обозначения тех способов мышления и действия, из овладения которыми Вольтер создал самую показательную для буржуазного общества профессию. Когда Чернышевский в своих мечтах, занесенных в Дневник, перебирал исторические имена, в ряду с которыми он хотел бы видеть и свое имя, он, правда, Вольтера, не назвал ¹⁵⁷. Но когда мечты уже оказались осуществленными, он набросал однажды новый ряд имен, среди которых уже было имя Вольтера и к которым он, в порядке самоопределения, присоединял и свое имя ¹⁵⁸. В ответ на упрек в мнимом всезнании, который сделали Чернышевскому «Отечественные Записки», — (по поводу его действительно странных суждений о философии и в частности о философских взглядах Юркевича), — он дает чрезвычайной важности разъяснение о себе, которое и должно быть, как критерий, положено в основу всех оценок его литературной деятельности. «Да кто вас уверял, — говорит он, — что я всё знаю? Всего никто не знает, — ни Монтань, ни Вольтер, ни Гете, ни даже сам Бэль ¹⁵⁹ не знали. Неужели я вам должен объяснять разницу между начитанностью и специализмом, между специальным ученым, который двигает вперед одну науку или одну отрасль науки, и между журналистом, которому довольно быть образованным человеком, который только популяризует выводы, сделанные учеными, только осмеивает грубые предрассудки и отсталость? — — — прежде всего, я по профессии — журналист, — — —, т.е. человек, старающийся знать успехи умственной жизни по всем вопросам, интересующим вообще всех образованных людей» («Совр.» 1861, ПСС, VIII, стр. 270) ¹⁶⁰.

Вольтер, как и французская публицистика XVIII в., — не единственный тип Просвещения. В иных отношениях, может быть, Чернышевского следовало бы сопоставить с Лессин-

гом ¹⁶¹, — недаром Чернышевский составил о нем довольно обширную компиляцию. Но если мы начнем сравнивать различные типы «просветителей», то как бы много общего мы ни открывали в их психологии и в содержании их просветительной проповеди, мы всегда должны будем также констатировать исторические и индивидуальные особенности их, связывающиеся прежде всего в избираемой ими форме проповеди моральных идеалов и обличения пороков. Чернышевский с самых юных лет тянется к *журналу*: это — его излюбленное чтение, его амбиция первых литературных опытов, пантеон его учителей, подлинных, не случайных, как университетские учителя. Недаром лучшее, что вышло из-под пера Чернышевского, были его *Очерки гоголевского периода русской литературы* ¹⁶², — работа вполне самостоятельная, дающая первое в русской литературе обозрение русской журналистики. И любопытно, что по стилю и форме эта работа Чернышевского также стоит особняком. В ней нет еще того типичного для Чернышевского нагромождения «размышлений», оттесняющих и вовсе затирающих «тему», но, тем не менее, содержащих в себе как раз то, из-за чего автор считал нужным взяться за перо. Мне кажется, что Чернышевский находит себя вполне, свой стиль, свою публицистическую форму, лишь в «Размышлениях по прочтении повести г. Тургенева „Ася“» («Русский человек на Rendez-Vous», 1858 г., «Атеней», № 3) ¹⁶³. В форме незрелой, в форме неосознанного искания, этот стиль можно обнаружить и раньше, — даже в *Диссертации*, написанной, во всяком случае как журнальная статья, а не как ученая работа, тогда как, яркое исключение из этого характерного стиля, *Очерки* написаны скорее, как работа научная, а не журнально-публицистическая. Единственная, кажется, работа Чернышевского, где названия глав соответствуют содержанию и содержание — заголовкам, где «размышления» устранены, ибо сама тема представляется автору достаточно серьезной и важной. Но каковы бы ни были отдельные исключения из общей манеры или общего стиля у Чернышевского и как бы эти исключения ни объяснялись, в целом нельзя не согласиться с характеристикой, которую дает Чернышевскому как «публицисту и полемисту» С. А. Венгеров, когда он говорит, что Чернышевский

* Очерки по истории русской литературы, 2-ое изд., 1907, стр. 56

«выработал тот особый, только в России встречающийся тип журнальных статей, который удержался до наших дней. Он состоит в том, что научно-философские темы разрабатываются не как предмет специального исследования, а берутся только в общих своих очертаниях и немедленным приложением к разрешению вопросов времени получают жгучий интерес ответа на самые животрепещущие запросы ума и сердца».

Если эта особенная манера Чернышевского, как такая, с течением времени настолько отчетливо выражена, что вызывает подражание и становится характеристикой всей последующей русской журналистики, то в молодом Чернышевском она могла только нащупываться, предчувствоваться, как его *an sich*, как некоторая потенция. Если бы Чернышевский захотел в конце своей жизни восстановить все известные нам перипетии его научной карьеры, он должен был бы повторить приведенное выше самоопределение, и признав его прямым осуществлением потенций, заложенных в нем от юности его, согласиться, что не одна только простая случайность была источником неудач и удач его магистерской диссертации, ибо не простая случайность сделала Чернышевского русским просветителем и не простая случайность, что его юношеская работа, будучи переиздана через 10 лет, сделалась боевым знаменем просветительного нигилизма, символом, который, именно потому, что был символом, говорил больше, чем хотел сказать юный Чернышевский и чем мог сказать насильственно лишенный слова Чернышевский зрелый.

Итак, общие выводы, подготовленные всем изложенным, могут быть сформулированы следующим образом. 1) Чернышевский правильно толкует в своих письмах к отцу препятствия, возникшие при осуществлении им своей научной карьеры, как *случайность*, поскольку под этим разумеется отрицание сознательного недоброжелательства или активного противодействия намерениям Чернышевского со стороны университета. 2) Ни университетская, ни свободная литературная критика не отметили в диссертации Чернышевского никакого крайнего радикализма взглядов, ни даже особенной новизны защищаемых им воззрений; в частности нет указаний на то, что в диссертации было замечено влияние Фейербаха или что воззрения Чернышевского толковались как заимствования и выводы из философского учения Фейербаха. 3) Сам Чернышевский в пе-

риод составления, печатания, защиты диссертации, вплоть до утверждения его в степени магистра и неопределенное время после этого нигде прямо не говорит о том, что его воззрения заимствованы у Фейербаха или являются выводами из учения Фейербаха.

Последнее обстоятельство для нас особенно важно, потому что мы пользовались до сих пор данными, к которым не относится то объяснение, которое сделал Чернышевский относительно *Диссертации*. В *Предисловии* <18>88 г. Чернышевский объясняет неупоминание имени Фейербаха в своем «трактате» тем, что «это имя было тогда невозможно употреблять в русской книге». То же самое, впрочем, Чернышевский утверждает и относительно Гегеля: «У автора нет и имени Гегеля, хотя он постоянно полемизирует против эстетической теории Гегеля, продолжавшей господствовать тогда в русской литературе, но излагавшейся уже без упоминаний о Гегеле. Это имя тоже было неудобно тогда для употребления на русском языке» (Соч. X, 2, стр. 192) ¹⁶⁴. Однако это указание на Гегеля, которое должно подчеркнуть правильность справки о Фейербахе, только усиливает сомнения относительно точности воспоминаний Чернышевского. Не говоря уже о полной неосновательности справки Чернышевского, будто эстетическая теория Гегеля продолжала «господствовать тогда в русской литературе» *, непонятно, как Чернышевский мог забыть, что он сам совершенно открыто называет имя Гегеля в писанных им «на русском языке» *Очерках гоголевского периода* и еще ближе к моменту выхода *Диссертации* в собственной рецензии на нее. (Соч. X, 2, стр. 178, 180) ¹⁶⁸. В то же время, надо отметить, неупоминание имени Гегеля не помешало Чернышевскому открыто приводить в *Диссертации* обширные цитаты из Эстетики Гегеля (соч. X, 2, стр. 151, 152) ¹⁶⁹, — вопреки, следовательно, уже известному нам сообщению Чернышевского в письме к отцу, будто в диссертации у него нет «ни одной цитаты». Почему Чернышевский не воспользовался тем же наивным приемом обмануть цензуру, когда ему

* В университетской науке она не была представлена, а из крупных журналов нельзя признать проводниками ни «Отечественные Записки» с Дудышкиным ¹⁶⁵, ни «Библиотеку для чтения» с Дружининым ¹⁶⁶, ни «Москвитянина» ¹⁶⁷ — остается «Современник» с Чернышевским, но не его же имел здесь в виду Чернышевский.

нужно было передать мысли Фейербаха, как он сам говорит (Предисловие <18>88 г., Соч. X, 2, стр. 197)¹⁷⁰, «верно и насколько допускало состояние русской литературы близко к изложению их у Фейербаха»? Можно было бы легко согласиться с допущением, что имя Фейербаха для цензуры того времени было более одиозно, чем имя Гегеля, и что поэтому даже анонимно приведенные его мысли нужно было более тщательно скрывать от внимания цензора. Но ведь эти соображения уже не могли останавливать Чернышевского при составлении им *Предисловия* <18>88 г. и ничто не мешало ему прямо указать, какие же мысли Фейербаха передавал он и где, и как он запрятал от цензуры их своем трактате.

Однако, Чернышевский ограничился одним единственным прямым указанием: «Сделав анализ понятия о прекрасном, автор говорит, что определение этого понятия, кажущееся ему справедливым, составляет, по его мнению, „вывод из таких общих воззрений на отношения действительного мира к воображаемому, которые совершенно различны от господствовавших прежде в науке“. Это надобно понимать так: он делает вывод из той мысли Фейербаха, что воображаемый мир только переделка наших знаний о действительном мире, производимая нашей фантазией в угождение нашим желаниям; что эта переделка бедна по интенсивности и скудна содержанием сравнительно с впечатлениями, производимыми на наши мысли предметами действительного мира» (Соч. X, 2, стр. 196)¹⁷¹.

Ниже нам еще придется решать вопрос, в какой мере такое толкование Фейербаха адекватно со стороны самого содержания его учения. Здесь, где наша задача ограничена чисто внешним сопоставлением указаний Чернышевского, важно отметить лишь внешнюю же согласованность или несогласованность имеющих в нашем распоряжении данных. Два указания, находящиеся в самой *Диссертации*, в особенности привлекают наше внимание, потому что именно на них ссылается Чернышевский, когда в своей саморецензии излагает ту «систему общего воззрения на мир», которая является основой и предпосылкой его собственно эстетических рассуждений и выводов. Первое из этих указаний гласит: «Воззрение на искусство нами принимаемое,— пишет Чернышевский,— проистекает из воззрений, принимаемых новейшими немецкими эстетиками (и опровергаемых автором [добавляет Чер-

нышевский в саморецензии]), и возникает из них чрез диалектический процесс, направление которого определяется общими идеями современной науки» (Дис. 131, Рец. Соч. X, 2, стр. 167) ¹⁷². Второе сформулировано им в Рецензии таким образом: «Он сам говорит, что если прежняя теория искусства, им отвергаемая, сохраняется доселе в курсах эстетики, то „взгляд, им принятый, постоянно высказывается в литературе и в жизни“» (Рец. 167, Дис. 134) ¹⁷³.

И вот, первое, что приходится отметить, это — несогласованность самих этих указаний. Если эстетические воззрения Чернышевского получаются из опровержения новейших немецких эстетик и строятся им как их диалектическое развитие под положительным руководством общих идей современной науки, то ясно, что автор считает эстетику отставшей от общего движения научной мысли и свою задачу видит прежде всего в том, чтобы поднять эту специальную дисциплину до общего уровня современной ему науки. И в таком случае и его задача, и тем более выполнение ее должны быть актом и продуктом его оригинальной творческой работы. Если же те воззрения, которые он развивает, постоянно высказываются в литературе и жизни, то его задача только собрать их и показать, в каком же отношении стоят они к общим идеям современной науки. И если теперь сопоставить это с ссылкой *Предисловия* на Фейербаха, то неясности получают еще большие: действительно ли Чернышевский имел в виду в этих указаниях именно Фейербаха? И где же: там, где он говорит об общих идеях современной науки, или, когда он говорит о постоянных высказываниях литературы и жизни? И, наконец, можно ли признать, как это выходит у Чернышевского, что общие идеи современной науки суть нечто иное, как воззрения на отношения действительного мира к воображаемому? И если даже допустить, что так, по крайней мере, представлял себе положение вещей сам Чернышевский, то можно ли надеяться, — имеем ли мы право даже ставить себе такую задачу, — что есть возможность согласовать выводы, получающиеся путем диалектического процесса из новейших эстетик, с такими общими воззрениями, которые совершенно различны от господствовавших прежде в науке, — ибо в этом пункте Чернышевский прав: идеи Фейербаха — совершенно новы, и как толковал сам Фейербах, получаются из прежней идеалистической философии не диалектически, а по новому методу

раскрытия антропологической, человеческой сущности утверждений абсолютной спекулятивной философии.

Ниже читатель должен будет убедиться, что все эти вопросы и сомнения — не праздны. Неясности, получившиеся у Чернышевского, — не случайны и не простой с его стороны недосмотр. Выводы, которые можно будет сделать из этих наблюдений, имеют значение для определения генезиса и смысла *Диссертации*. Необходимо, поэтому, продолжить наши сопоставления еще в новом направлении.

В *Диссертации* приведенные выше слова Чернышевского о возникновении его воззрения на искусство заключаются: «Итак, непосредственным образом оно связано с двумя системами идей — начала нынешнего века с одной стороны, последних десятилетий с другой» (Дис. 131) ¹⁷⁴. В *Предисловии* <он> как бы прямо раскрывает, что следует разуметь под системою идей последних десятилетий. «Вообще, — говорит он, — автору принадлежат только те частные мысли, которые относятся к специальным вопросам эстетики. Все мысли более широкого объема в его брошюре принадлежат Фейербаху. Он передавал их верно и насколько допускало состояние русской литературы близко к изложению их у Фейербаха» (Соч. X, 2, стр. 196–7) ¹⁷⁵. Но, как мы видели, в *Предисловии* он называет только одну мысль «более широкого объема»: *об отношении действительного мира к воображаемому*. И если их и в самом деле больше нет, то тем непонятнее становится утверждение Чернышевского, что принадлежавшие ему частные мысли, составляющие только выводы из общих мыслей Фейербаха, он «и тогда не считал — — — особенно важными», и «был доволен своим небольшим трудом только в том отношении, что ему удалось передать на русском языке некоторые из идей Фейербаха — — —» (ib. 196) ¹⁷⁶. И однако же сам Чернышевский свидетельствует о том, что в *Диссертации* он этих идей не передал.

В Авторецензии он делает ссылку на приведенные только что «последние десятилетия», точнее теперь поясняя, что имеются в виду последние два десятилетия, и вслед за тем делает своей *Диссертации* тяжелый упрек: «Как же после этого, спрашиваем мы, не изложить, насколько то нужно, этих двух систем общего воззрения на мир? Ошибка, совершенно непонятная для каждого, кроме, быть может, самого автора, и, во всяком случае, чрезвычайно ощутительная» (Соч. X, 2, стр. 167) ¹⁷⁷. И только здесь

Чернышевский, в роли рецензента собственной книги, считает нужным «исполнить то, что должен был бы сделать, но не сделал он сам [в роли автора Диссертации] для объяснения своих мыслей» (ib.) *. Далее Чернышевский непосредственно переходит к изложению, по крайней мере, второй из названных им «систем идей». Это изложение есть ничто иное, как достаточно подробное развитие мысли об отношении мира действительного и воображаемого. Таким образом, именно это изложение и должно будет послужить главным источником для разрешения вопроса, в какой мере Чернышевский усвоил учение Фейербаха, насколько точно он его передавал, и в какой степени поэтому он может быть назван фейербахианцем.

Откладывая рассмотрение этих вопросов по существу, мы, в порядке всё того же внешне-формального анализа, можем все-таки спросить: почему Чернышевский не счел возможным развить свои общефилософские воззрения в Диссертации, а прибег к такому искусственному способу внушения их читателю? Первой является мысль, что Диссертация должна была подвернуться университетской цензуре, которая могла бы предъявить к автору требования, от которых он был свободен в «Современнике», где была помещена его рецензия, к тому же подписанная псевдонимом («Н. П-ъ»), Мне лично такое объяснение, однако, не кажется правдоподобным. Университетская цензура того времени не была строже и придирчивее цензуры общей. И если Чернышевский думал, что он излагает в замаскированной форме мысли Фейербаха, он мог бы с небольшим риском попытаться провести свою научную работу через университетскую цензуру, чем через цензуру общую. Это должно

* И всю задачу своей Рецензии Чернышевский полагает именно в выяснении общефилософской позиции Диссертации и в рассмотрении того, насколько правильны его выводы из общефилософских предпосылок. «Рецензент,— пишет он,— занимался эстетикой только как частью философии, потому представляет суждение о частных мыслях г. Чернышевского людям, которые могут основательно судить о них с точки зрения специально-эстетической, чуждой рецензенту. Но ему кажется, что существенное значение эстетическая теория автора имеет именно как приложение общих воззрений к вопросам частной науки, потому он думает, что будет стоять именно в средоточии дела, рассматривая, до какой степени верно сделано автором это приложение» (ib. 175–6).

быть в особенности верно, если хотя бы частично правы те отзывы об современных ему ученых, которые мы встречаем в письмах Чернышевского к отцу, когда он пишет, что предмет его «сочиненьишка» «почти никому у нас неизвестен» (Пис. 256), или, что «записные ученые знают только книги, вышедшие назад тому двадцать лет» (ib. 260), т.е. как раз эпохи новой «системы идей». Но если даже это мое мнение спорно * обсуждение его не должно отвлечь нас от другого объяснения — исключительной важности, так как оно прямо подсказывается самим Чернышевским. В конце Авторецензии Чернышевский подводит следующий итог: «Многочисленные ошибки и опущения, нами замеченные, доказывают, что г. Чернышевский <...> ¹⁸².



* Косв<енно> Щеголев — ниже.